

ЭЛИЗАБЕТ БАРРИНГТОН

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛЕДИ

ВЕЛИКАЯ ЛЮБОВЬ, БРОСИВШАЯ ВЫЗОВ ЭПОХЕ



ОДНА
ЗОЛОТАЯ
СТАТУЭТКА



•НОМИНАЦИЯ
В ТРЁХ КАТЕГОРИЯХ

Элизабет Баррингтон
Божественная леди

«Автор»

2026

Баррингтон Э.

Божественная леди / Э. Баррингтон — «Автор», 2026

Блестящий исторический роман Э. Баррингтон погружает читателя в атмосферу бурного XVIII века, где переплетаются судьбы империй и человеческие сердца. В центре сюжета — поразительная судьба Эммы Харт, прошедшей путь от простой девушки из низов до блистательной жены британского посла и музы великого художника Джорджа Ромни. Ее чары сводили с ума мужчин высшего света, а амбиции и острый ум позволяли влиять на политику целых государств. Однако главным испытанием и главным даром судьбы для неё стала встреча с легендарным британским адмиралом Горацио Нельсоном. Их запретная, всепоглощающая страсть вспыхнула на фоне наполеоновских войн, бросив вызов лицемерному высшему свету и общественной морали. Это история о триумфе любви, преданности и неизбежной трагедии, которая оставила след в веках.

© Баррингтон Э., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Предисловие переводчика	6
Главные персонажи романа и фильма «Божественная леди»	7
Адмирал Горацио Нельсон (Horatio Nelson)	8
Леди Эмма Гамильтон (Emma Hamilton)	9
Сэр Уильям Гамильтон (	10
Королева Мария-Каролина Неаполитанская (Queen Maria Carolina)	11
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	12
ГЛАВА 1 КАК ГРЕВИЛЛ ПОЗНАКОМИЛСЯ С НЕЙ	12
ГЛАВА 2 ЗНАКОМСТВО СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ	22
ГЛАВА 3 ВЗРЫВ	29
ГЛАВА 4 ПОКОЙ И ЛЁГКИЕ ШКВАЛЫ	36
ГЛАВА 5 ТРЕЩИНА	43
ГЛАВА 6 ПРЕКРАСНАЯ ХОЗЯЙКА ЧАЙНОГО СТОЛА	50
ГЛАВА 7 ОБСУЖДЕНИЕ	56
Конец ознакомительного фрагмента.	62

Элизабет Баррингтон Божественная леди



Предисловие переводчика

Роман британско-канадской писательницы Элизабет Луизы Морсби, публиковавшейся под псевдонимом Э. Баррингтон, вышел в свет в 1924 году — в ту самую бурную и яркую эпоху, когда литература по обе стороны Атлантики жадно искала новые формы для осмысления страстей, масштабных исторических судеб и глубокой психологической драмы. Книга, посвященная легендарному роману британского флотоводца адмирала Горацио Нельсона и его возлюбленной Эммы Гамильтон, мгновенно стала бестселлером и спустя всего несколько лет легла в основу одноименного голливудского шедевра, принесшего режиссеру Фрэнку Ллоиду премию «Оскар».

Особенность прозы Э. Баррингтон кроется в ее уникальном методе «художественной биографии». В отличие от сухих исторических трактатов, автор мастерски стилизует повествование под изысканную прозаическую классику рубежа веков, сохраняя при этом скрупулезную верность подлинным фактам и эпистолярным источникам. Стилю писательницы присущи кинематографическая живописность, внимание к деталям быта эпохи наполеоновских войн, а главное — глубокий психологизм. Баррингтон не просто описывает триумфы и трагедии Нельсона и леди Гамильтон; она исследует хрупкость человеческой природы перед лицом истории, изнуряющее бремя славы и всепоглощающую силу любви, бросающей вызов чопорному светскому обществу.

Для читателя XXI века этот роман — редкая возможность погрузиться в атмосферу большой исторической прозы Золотого века, где за каждым поворотом сюжета стоят реальные страсти, стоившие героям бессмертия. Переводчик стремился бережно передать неповторимый авторский тон Баррингтон: её сдержанный английский аристократизм, лиризм и напряженный драматизм, который звучит так же свежо и пронзительно, спустя столетие после первой публикации книги.

Владимир Давыдов

Главные персонажи романа и фильма «Божественная леди»



Адмирал Горацио Нельсон (Horatio Nelson)

Характер и роль: Национальный герой Великобритании, гениальный и бесстрашный флотоводец, чье имя наводит ужас на французский флот. Несмотря на свой военный гений и непреклонную волю в бою, в личной жизни он оказывается уязвимым, глубоко чувствующим человеком.

Конфликт: Его всепоглощающая, страстная любовь к Эмме Гамильтон противоречит жестким пуританским устоям британского общества и нормам морали того времени. Этот союз требует от него огромного мужества, ставя под удар блестящую карьеру и репутацию.

Леди Эмма Гамильтон (Emma Hamilton)

Характер и роль: Главная героиня истории — женщина редкой красоты, ума, обаяния и драматического таланта. Пройдя через тернистый путь от простолюдинки до одной из самых влиятельных дам при дворе и жены британского посла в Неаполе, она покоряет сердца современников.

Конфликт: Будучи музой и возлюбленной адмирала Нельсона, Эмма становится объектом зависти, сплетен и жестокого осуждения со стороны высшего света. Ее яркая индивидуальность и независимость бросают вызов чопорной эпохе.

Сэр Уильям Гамильтон (

Sir
William
Hamilton
)

Характер и роль: Британский посол в Неаполе, человек зрелого возраста, эрудит, коллекционер искусства и муж Эммы. Он отличается утонченными манерами, мудростью и редким для той эпохи пониманием натуры своей молодой жены.

Конфликт: Его образ лишен карикатурной ревности; напротив, он сохраняет глубокое уважение к Эмме и даже становится свидетелем и молчаливым союзником ее глубокой привязанности к Нельсону, что добавляет сюжету пронзительного психологизма.

Королева Мария-Каролина Неаполитанская (Queen Maria Carolina)

Характер и роль: Властная, политически активная королева Неаполя (сестра французской королевы Марии-Антуанетты). Она играет ключевую роль в политической интриге региона на фоне наполеоновских войн.

Конфликт: Ее тесная дружба и союз с Эммой Гамильтон втягивают британских героев в водоворот южно-итальянской политики, где личные судьбы тесно переплетаются с государственной борьбой за власть.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА 1 КАК ГРЕВИЛЛ ПОЗНАКОМИЛСЯ С НЕЙ

Она сидела у окна и пела, а на лужайке перед домом дети собирались кучками под вязами, слушая её дивный голос. Она пела с беззаботной радостью, словно дрозд, укрывшийся в зелёной листве. Из прекрасного, словно изваянного горла, созданного для пения, лились чистые, звучные ноты; за ними чувствовалась такая страстная полнота жизни, что казалось — этот хрустальный поток бьёт из сокровенных родников сердца.

Пусть он бранит — признаю власть его

И соловьём спою я для него.

Пусть хмурится — скажу, что вижу розы,

Омытые росой, а не угрозы.

Она выводила трели и переливы, склоняла голову набок, разглядывая шляпку, которую украшала цветами, задумывалась, снова принималась петь и почти бессознательно сплетала цепочки звуков чистейшего сопрано. Шляпка занимала её больше, чем песня; наконец пение оборвалось — работа потребовала всего её внимания. В окне появилась маленькая головка.

— Спойте ещё, сударыня! Уж очень красиво!

Даже такой публикой не следовало пренебрегать. Она отложила шляпку, опёрлась обнажёнными руками на подоконник и запела уже от всей души. Из окна соседнего дома высунулась женщина с кислым лицом.

— Ступайте играть, негодные мальчишки! Нечего время тратить, слушая таких!

Дети бросились врассыпную, а женщина добавила, уже про себя:

— Эта миссис Харт! Всякий, кто на неё посмотрит, сразу поймёт, что она за птица!

И захлопнула окно.

Песня резко оборвалась. Девушка в ярости повернулась, словно собиралась ответить дерзостью на дерзость, но вдруг остановилась, залилась пунцовым румянцем и застыла посреди комнаты. Шляпка лежала у её ног. День был испорчен окончательно и бесповоротно.

— Какая подлая, злая, жестокая несправедливость! — воскликнула она. — Что бы я ни делала, куда бы ни шла, от этого мне никуда не деться. А ведь я не виновата! Будь у тех барышень такое детство, как у меня, живи они там, где я жила, ночуй там, где я ночевала, — ручаюсь, поступали бы ничуть не лучше. А теперь идут себе, чинные да благородные!

Она простёрла руку к окну с трагическим жестом.

Две молодые барышни в пышных юбках и широкополых шляпах, с муслиновыми косынками, благопристойно скрещёнными на целомудренной груди по моде 1782 года, степенно прогуливались по зелёной лужайке мимо кладбищенской ограды. На случай, если одной природной скромности окажется недостаточно для их охраны, позади шествовал откормленный лакей с великолепно развитыми икрами. Позолоченный набалдашник его посоха и золотые галуны ливреи сверкали в июньском солнце, а сытое лицо украдкой поворачивалось к занавескам, скрывавшим прекрасную разгневанную девушку. Сами барышни тоже бросили туда по одному тайному взгляду из-под опущенных полей шляп: на Паддингтон-Грин и в его окрестностях это скромное домашнее устройство возбуждало весьма живое любопытство.

Да и чему тут удивляться? Возьмите тихое предместье, близкое к Лондону и всё же далёкое от его скандалов; расположите вокруг сонной лужайки небольшие почтенные дома

Эджвер-Роу, населённые главным образом увядшими старыми девами и благопристойными вдовами, доживающими свой век под мерный звон церковных колоколов; а затем внезапно поселите в единственном пустующем доме красивого, ещё молодого мужчину, чьё тщательно продуманное простое платье не может скрыть ни светского лоска, ни высокого положения, и юную девушку такой красоты, что в стране, где сама красота сродни греху, её неизбежно сочтут виновной, пока не будет доказана её невиновность, — и посмотрите, что произойдёт.

Разумеется, всё именно так и произошло. Когда Эмму впервые поставили во главе домашнего хозяйства, она сделала несколько робких попыток завязать знакомство. Через ограду маленького садика заговорила с соседкой, миссис Армитидж, и предложила ей буханку хлеба, услышав, как та громко сетовала на забывчивость булочника. От предложения отказались с такой колючей учтивостью, что смысл был ясен: хлеб из подобных рук — отравя.

Когда маленький Джемми Барретт упал и ободрал колени, Эмма остановила кровь, наполнила его ладони сладким печеньем и бережно отвела ревущего виновника происшествия домой — на другую сторону лужайки, к дому Барреттов среди кустов чубушника. Первый подозрительный взгляд миссис Барретт возлагал вину за крики на саму Эмму; объяснение вызвало лишь ледяное:

— Весьма любезно с вашей стороны, конечно. Джемми, если ты сейчас же не прекратишь этот шум...

Эмма с тоской посмотрела на ребёнка — и для этой тоски у неё были причины, — повернулась и ушла под жадно-любопытными взглядами: из нескольких окон уже высовывались головы.

Жена священника нанесла визит, но больше не приходила.

— Дорогой мой, я обнаружила, что служанка, кухарка, — её собственная мать! — воскликнула она в кабинете супруга. — В подобных случаях сразу понятно, что и думать. Прошу тебя, разузнай об этом мистере Гревилле. Фамилия-то явно аристократическая, а девушка, при всей своей красоте...

Её красота! Вот где начинается затруднение: как описать, какими словами передать ту красоту, которую природа дарует лишь раз или два в столетие? Впоследствии едва ли нашёлся великий художник, который не пытался бы запечатлеть её живой и сияющей на своём полотне; и каждый признал бы, что, даже сделав всё возможное, так и не достиг недостижимого — оно по-прежнему смеялось или вздыхало где-то за пределами его искусства. Пожалуй, лучше всех высказался епископ Дерри, прелат, весьма мало похожий на епископа:

«Господь был в великолепном расположении духа, когда создавал Эмму».

Но и это требует подробностей, если мы хотим хоть сколько-нибудь представить её очарование. Пункт первый: две губы, довольно красные, — по-шекспировски? Нет, нет, для Оливии это, быть может, и годится, но не для такого совершенства, как Эмма. Попробуем невозможное; по крайней мере, потерпим неудачу в достойной компании: пытались все, и ни одному не удалось.

Она была безупречного роста, с длинными стройными ногами и руками, с пышной для её лет грудью. Кисти и ступни не отличались хрупкостью и, как прекрасная шея и словно высеченные из мрамора руки, говорили о физической силе. Уже одна фигура заставляла обратить на неё внимание: стройная, гибкая, она плавно вырисовывалась под складками одежды, и каждое движение было непринуждённо, как у кошки, которой не приходится задумываться ни над стремительным прыжком, ни над тем, как лениво свернуться клубком, засыпая или жмурясь перед огнём. Подойдя к этой девушке сзади, нельзя было не заметить её грации: медленного поворота головы на длинной шее, ритма округлых движений рук и умоляющих жестов кистей — жестов у неё было множество, и все необыкновенные, — прекрасной линии от бедра до пятки. Её тело говорило за неё и сулило многое тому, кто ещё не видел лица.

Она и впрямь была волной в океане красоты, взметнувшейся под дыханием юности. Можно ли описать её? Посмотрите, как Ромни изобразил её вакханкой: озорно повернув голову через плечо, она смеётся глазами и губами — и сама себе, и счастливым фавнам, которых мы угадываем за пределами картины. Она поведёт хоровод в лесу, будет сидеть под тёмной сенью, испещрённой лунным светом, любить и принимать любовь, заключённая в сильные объятия, прижавшись щекой к горячей щеке. А вот она — Цирцея, строгая в своей разбитой страсти, величаво выпрямившаяся, опустившая волшебный жезл, чтобы снять чары со зверей, в которых томятся человеческие души. Или читающая Магдалина, задумчивая, с головы до колен облачённая в потоки рыжевато-каштановых волос, золотящихся на выющихся, словно усики растений, концах. Ах, такие волосы, быть может, и пристали Магдалине, но уж никак не той, что удаляется в пещеру и погребает себя в богословии! Совсем напротив.

И всё-таки ни один портрет не был так прекрасен, как она сама. Большие прозрачные глаза фиалково-серого оттенка можно было лишь приблизительно передать на полотне; а какой художник сумел бы изобразить эту отметину причудливой планеты — карее пятнышко, плавающее в прозрачной глубине одного глаза? Она признавалась, что сама считает его нелепостью, но, скрытое под прелестными ресницами или внезапно блеснувшее в смехе, оно покоряло сердца. Рот её был божественен: нежно приподнятые уголки, полная нижняя губа с двумя вишнёвыми округлостями. Но даже это не составляло главной его прелести: изменчивая выразительность была самой красотой. Тут всякое перечисление становилось невозможным: человек уже был по рукам и ногам опутан сетью голубого взгляда, а сладкая улыбка довершала его погибель.

И её собственную тоже. Ибо какая судьба могла ждать такую девушку, родившуюся в семье кузнеца в английской деревне, где унылые дни бесконечно повторяли друг друга? Природа жестоко насмешничала, заперев подобную птицу в подобной клетке: птицу, созданную для вольных лесов и вольной любви, звезду, танцующую в смеющейся тьме. Лондон помянул деревенскую девушку по дороге, вымощенной надеждой и неведением, а затем уронил её, словно спелый плод на слишком тонком стебельке, в грязь, где мухи толпятся и жужжат над растоптанной, испачканной сладостью. После нескольких не слишком настойчивых попыток устроиться в прислуги наступает полоса мрака. Над ней нависают уродливые слухи. Возможно, их смысл был не вполне ясен и самой девушке; но как бы то ни было, пятнадцатилетняя вправе просить о сострадании. Выслушаем её собственные слова, обращённые к Ромни, который не только обессмертил её, но и стал её другом:

«О, дорогой мой друг, признаюсь, на некоторое время нужда одолела мою добродетель, но не смогла одолеть моего чувства добродетели».

Оставим же этот мрак и не будем освещать непристойные фигуры, двигавшиеся в нём вокруг ребёнка. Она, должно быть, страстно желала — и действительно желала — найти такое положение, в котором каждый день обещал бы безопасность, а не внезапные страшные перемены. Можно ли было надеяться обрести её в объятиях офицера королевского флота, легкомысленного глупца, первой отчётливо различимой фигуры в пёстрой череде картин её жизни? Надо сказать, он вовсе не разглядел в незрелой девушке скрытую удивительную женщину — как в грубой мраморной глыбе спит всепобеждающая Афродита. Он увидел, что она красива, как многие Сьюзен и Полли, пленяющие матросскую прихоть; потянулся к этой красоте, смял её и пошёл дальше. Так чёрное копыто может растоптать таволгу и ступать дальше, ни о чём не ведая. В этом чуде он не нашёл ничего, чего нельзя было бы исчерпать за два месяца, и отплыл навстречу своей судьбе, оставив смутно открытой дорогу, которая через множество поворотов и препятствий должна была привести к ней другого, куда более великого моряка. Тот назовёт отверженную «самой драгоценной жемчужиной, какую Бог когда-либо посылал на землю».

Но первый мужчина ранил её — надломил какую-то искренность, какую-то доверчивую открытость души, которую жизнь уже никогда не смогла восстановить. И снова она оказалась

предоставлена своим жалким средствам; снова наступает пробел, который нечем заполнить достоверно.

Она опять попыталась обрести опору. Найдётся ли она теперь у весёлого молодого суссекского сквайра, любителя лисьей охоты и буйных развлечений, одинаково беспечного в пьянстве и любовных похождениях, сэра Гарри Фетерстонхо? «Фетерстон» — так звали его собутыльники. Ему требовалась хорошенькая «женщина», как писала бедная Эмма, которая сидела бы за его столом, когда компания ещё не успела напиться настолько, чтобы перестать замечать женские прелести. Её поразительной красотой он гордился примерно так же, как царь Ахашверош, который тоже надеялся ослепить своих льстецов и возбудить их зависть, явив им за пиршественным столом красоту царицы Вашти.

Однако Вашти гордо отказалась быть выставленной напоказ, а Эмма — нет. Она изо всех сил старалась угодить. Улыбалась и никак не могла понять, где проходит граница между приветливостью и фамильярностью с этими мужчинами, одинаково готовыми кричать охотничье «туда его!» вместе с сэром Гарри в поле и ухаживать за его прекрасной любовницей после обеда. Она участвовала в их забавах и ездила верхом не хуже лучших из них: яркие непокорные волосы выбивались из-под бархатной шапочки, когда она бешено скакала по волнистым Суссекским холмам, над синим морем. Ни один мужчина не мог её обогнать; и каждый дивился ослепительной красоте, пылающим щекам и глазам, неудержимой жизненной силе этого прелестного создания, подобранного сэром Гарри Бог знает где на зависть половине графства. В старой гостиной, где в большом зеркале неведомо откуда отражалось призрачное распятие и никто не мог объяснить почему, она сидела за чайным подносом и пыталась усвоить скромное изящество леди Фетерстонхо. Но стоило чьей-нибудь дерзкой руке обхватить её за талию — и все старания кончались хихиканьем служанки, вознёй и бегством.

Впрочем, убежать ей удавалось не всегда: Судьба, которую красота влечёт, словно возлюбленного, снова шла за ней по пятам — с насмешливой улыбкой, совсем не похожей, Бог свидетель, на улыбку влюблённого!

Достопочтенный Чарльз Гревилл, младший сын графа Уорика, удостоил сэра Гарри своим достопочтенным обществом лишь ради охоты, без намерения задерживаться надолго: безмозглые мужские сборища его не привлекали. Ездить на них полагалось, поскольку в его кругу мужчины охотились — с ружьём или с гончими, — и тот, кто не участвовал в этих занятиях, не мог занимать подобающее положение в обществе. Но человек по-настоящему образованный едва ли способен долго находить удовольствие в компании светского любителя спорта и его приятелей, которые глупо толпятся вокруг него.

Мистер Гревилл пил лишь в той умеренной степени, которая приличествует джентльмену. Стрелял он умеренно, охотился умеренно; любовные приключения его холостой жизни тоже были умеренны и подчинялись должному вниманию к расходам. И всё же он был любителем, тонким ценителем красоты: красоты женской, но ещё больше — целомудренной греческой скульптуры, благородных этрусских ваз, по которым двигались фигуры, застывшие в давно угасшей радости; причудливых кристаллов, монет и всех тех пленительных вещей, которые Время подбирает на берегу Вечности и роняет из своей котомки, отправляясь к следующему приключению и забывая предыдущее. Собирал он их не только для себя — да и немного мог приобрести при своём ограниченном доходе, — но и для дяди, сэра Уильяма Гамильтона, посла в Неаполе, весьма выдающегося знатока искусств и почти непререкаемого авторитета во всём, что касалось Греции и Рима.

И вот, вооружившись всеми достоинствами благородного происхождения и осмотрительностью не по летам, мистер Гревилл прибыл в Ап-парк, принеся очередную жертву на алтарь светских обычаев. Возможно, найдётся хорошенькая горничная, которую можно потрепать за подбородок; уж во всяком случае будет восхитительный воздух диких холмов, бодрящий, как шампанское, — не говоря о погребках сэра Гарри. А ещё — Господи, как же он об этом забыл! —

новая любовница хозяина, над которой можно будет посмеяться, вернувшись в клубы. Предыдущая была совсем уж заурядной потаскушкой; право, человеку хорошего происхождения трудно понять, как другой такой же человек может довольствоваться столь жалким обществом, когда дамы из благородных семейств вовсе не неприступны и при осторожном уходе обходятся дешевле, причём во многих отношениях.

Однако за всю свою долгую и добродетельную жизнь мистер Гревилл так и не забыл, как впервые увидел новую обольстительницу.

Когда он прибыл в Ап-парк, стоял ясный осенний день. Лёгкий ветерок шуршал сухими листьями огромных краснолистных буков, прежде чем сбросить их на землю; в саду красовались поздние георгины и рядами стояли хризантемы. У парадного входа сэр Гарри вместе с двумя конюхами пытался удержать великолепнейшего коня, какого Гревиллу доводилось видеть: крупного костистого чистокровного гнедого, который рвался, дрожал, обливался потом и был почти безумен от избытка сил и нервного возбуждения. На его спине лежало дамское седло, а на ступенях портика стояла девушка в амазонке и шляпе с перьями. Она так внимательно следила за конём, что не заметила Гревилла, поднимавшегося из парка извилистой садовой дорожкой. Сэр Гарри ругался как солдат. Большую часть его ругательств я избавляю читателей от необходимости выслушивать: они вышли из моды и потому бесполезны. Одно, впрочем, по-прежнему знакомо.

— Я тебе говорю, Эмили, не позволю! И более того: будь я проклят, если не выпорю тебя вместо коня, коли ты попробуешь. Эту скотину надо объездить — пусть хоть все кости ему переломают, — прежде чем мужчина или женщина сумеют с ним справиться. Как ты смеешь приказывать, чтобы его приводили, проклятая девка!

И так далее, и так далее; конюхи одним глазом следили за конём, другим — за девушкой. Гревилл остановился поглядеть, чем кончится спор. Лица её он не видел: она стояла к нему боком, но фигура в платье для верховой езды была весьма приятна.

Она не произнесла ни слова. Стояла, прислонившись к колонне, и смотрела.

— Уведите его! — крикнул сэр Гарри. — А если вы, проклятые такие-то, дети таких-то, ещё раз приведёте его без моего приказа, я вам...

Далее опять следовало то же самое.

Девушка заговорила голосом, похожим на флейту:

— А если бы вы позволили мне, сэр Гарри, сколько бы поставили на то, что я с ним не справлюсь?

— Если бы я был настолько глуп, чтобы позволить, я бы поставил пятьдесят гиней, что через пять минут от тебя останется груда переломанных костей. И поделом! — прорычал сэр Гарри, поворачиваясь к дому.

Конюхи тоже повернулись. Она продолжала смотреть — неподвижная, как мраморная статуя.

И тут произошло нечто совершенно неожиданное. Едва они отошли на несколько шагов, она слетела с лестницы, словно чибис; пока коня ещё удерживали с обеих сторон, положила одну руку на плечо конюху, другой ухватила за переднюю луку седла, отчаянно нащупала стремя и уже сидела верхом — глазом моргнуть не успели. В спешке ей не удалось перекинуть ногу через рожок седла, но она не растерялась: крепко упёрлась ступнёй в стремя и хлестнула каждого конюха так, что оба отскочили, бранясь от боли. И прочь — вихрем! Правая нога наконец заняла надёжное положение, а сэр Гарри топал ногами и орал на портике.

— Господи, спаси нас! — сказал Гревилл и замер, ожидая развязки.

Поначалу ей не удавалось управиться с животным: они бешено носились по клумбам, сшибая георгины и опустошая розовые кусты. Из-под тяжёлых копыт летели клочья дёрна, дикие глаза метали пламя, и, глядя, как конь подбрасывает девушку на могучей спине, можно было подумать, что его породил неистовый северный ветер.

— Нимфа и кентавр! — произнёс Гревилл, спокойно наблюдая. — Впрочем, я ставлю на нимфу!

Он был прав, хотя пока шансы оставались равны, а сэр Гарри только ухудшал положение девушки: с воплями бежал по широкой дорожке, и бледные конюхи следовали за ним. Она ещё немного потрудилась в саду — за что садовники наверняка помянули бы её на следующий день, — а затем великолепно направила коня прямо на высокую лавровую изгородь внизу. Уступит ли он ей? Ни за что, если сумеет избежать! Конь резко свернул, едва не сбросив её на ровную зелёную верхушку, и снова понёсся вверх по саду.

Гревилл схватил сэра Гарри за руку.

— Да стойте же, глупец! Вы погубите женщину!

Они опять с грохотом пронеслись вниз. Она держалась великолепно, стиснув зубы, с развесающимися волосами, снова послала его на изгородь — и они перелетели её, словно птица, не задев летящими копытами ни одного верхнего листка.

— С дороги! Он у меня в руках! — крикнула она.

И умчалась в парк, где, если только сумеет удержаться в седле, можно было загонять его до полного изнеможения. Вскоре они скрылись из виду, несясь во весь опор.

Оба джентльмена встретились в состоянии, исключавшем обычные любезности между хозяином и гостем.

— Вы видели эту... сумасшедшую? — воскликнул сэр Гарри; над багровыми щеками свирепо блестели глаза.

— Ещё бы, клянусь Богом! — ответил Гревилл: даже его холодная кровь забилась быстрее. — Никогда не видел ничего прекраснее — ни женщины, ни коня.

— Её привезут домой на ставне, это так же верно, как то, что я сейчас стою перед вами. Бейтс, спускайся в парк и будь наготове.

— Я ставлю на даму!

Гревилл повернулся и побежал к ограде над рвом, откуда открывался вид на парк. Сэр Гарри тяжело топал сзади.

— А я — на коня! — выдавил он между судорожными вдохами и остатком дыхания назначил ставку в пятьдесят гиней.

Гревилл принял пари.

Она едва не задела каштан и пригнулась к шее коня, спасаясь от нависших ветвей; Гревилл задрожал за свои гиней. Они обогнули озеро, и тут она приготовила хлыст и принялась безжалостно хлестать коня, пока тот не помчался как одержимый. Направила его на длинный крутой склон и ударами погнала вверх; словом, сметка одолела выносливость, и довольно скоро конь понял, что побеждён. Но она всё ещё не давала ему пощады. Вниз по склону, поворот — и снова вверх, пока он не остановился как вкопанный, опустив уши и обливаясь потом: покорённый зверь.

Тогда она дала ему немного постоять. Сама уже поникла в седле, обессиленная яростной борьбой; под деревьями на зелёном дёрне они словно воплощали саму усталость. Наконец она повернула коня к дому и очень медленно, шагом, направилась к двум ожидавшим мужчинам.

Нетрудно предположить, что сэр Гарри был не в лучшем расположении духа: необходимость уплатить сто гиней за то, что тебе перечили целый день, никого не делает более добродушным. Однако к тому времени, как усталая пара приблизилась, он успел сказать всё необходимое о визите Гревилла, а тот — порадоваться, что волнение принесло ему пятьдесят гиней прибыли. Ему хотелось увидеть лицо девушки. Разумеется, ругань сэра Гарри и весь ход событий уже объяснили ему её положение.

— Полагаю, это миссис Харт? — спросил он.

— Она самая. И мужчина заслуживает всё, что ему достаётся, если взваливает себе на шею такую... Растрать он на подобную вертихвостку всё состояние, в награду получит только неблагодарность да хлопоты, от которых можно сойти с ума.

— Дорогой сэр, поблагодарим её хотя бы за самую великолепную схватку человека с животным, какую мне доводилось видеть. Вы, безусловно, нашли себе весьма необыкновенную подругу; к тому же, насколько я слышал, весь свет завидует её красоте.

Это оказалось верной нотой. Туча на челе владельца несколько рассеялась.

— Ну, что до этого, девчонка недурна, — неохотно признал сэр Гарри, — и в красоте я разбираюсь не хуже других. Но даю вам слово, сэр, с этим конём легче справиться — готов поклясться! — чем с миссис Харт. Она добьётся своего, даже если это будет стоить ей жизни, а если не добьётся, поднимет такой бедлам, что сам чёрт не рад будет. Даже жена не могла бы быть большей мегерой. Самое малое, чего можно ожидать от подобной женщины, — это покорность, и смею вас уверить...

Но тут виновница приблизилась, плавно покачиваясь в такт усталому шагу коня, оглядела мистера Гревилла и больше не обратила на него внимания.

Шляпа с перьями осталась где-то в парке; рукав амазонки был наполовину оторван зацепившей его веткой, а полотнище юбки свисало, словно спущенный флаг. Зато ни в её глазах, ни в гордом наклоне головы никакой флаг спущен не был, хотя голос звучал ласково, как воркование горлицы, — мягкий, флейтовый, совершенно необыкновенный голос. Впрочем, в этой молодой женщине всё было необыкновенно.

— О, сэр Гарри, простите меня, умоляю! Наверно, в меня вселился дьявол, но как увидела, что его уводят, непременно должна была броситься следом, хоть бы это стоило мне души. Дело не в гинеех. Я ни одной не возьму, даже если вы станете швырять их в меня, но выиграть пари я должна была. О, сэр Гарри, не будьте ко мне суровы — вы ведь сами лучший наездник во всём Суссексе. Вам-то это понятно!

Она нежно склонилась к нему, лаская его взглядом.

— Вы же не хотели бы, чтобы я оказалась трусихой?

Когда она наклонилась, волосы свесились едва ли не до путового сустава коня — сплошное золото и блеск гладких каштановых волн. Гревилл никогда не видел таких длинных волос. Она могла бы проехать, как Годива, и всё же соблюсти приличия. А глаза — фиолетовые они, синие или тёмно-серые? Её красота поразила его, ударила в голову, как крепкое вино.

— Я так устала! — сказала она, по-детски надув прелестные губы. — О, сэр Гарри, помогите мне сойти.

— Сама забралась — сама и слезешь! — ответил сэр Гарри и лениво поднялся по ступеням, через плечо велел Бейтсу увести скотину.

Она посмотрела на Гревилла, освобождая ногу, чтобы соскользнуть с седла. Он молча подошёл, улыбаясь; она скользнула ему в объятия — вес, как он почувствовал, был весьма ощутимый — и встала рядом с ним на ступенях.

— Ужас как на меня сердится, верно? — спросила она, сверкнув глазами и ткнув большим пальцем через плечо.

В её речи слышался деревенский выговор — он отнёс его куда-то к окрестностям Честера, — но неприятным тот не был. Да и что могло показаться неприятным в таком голосе? Звук «h» она произносила неуверенно — вот и изъясн. Кроме самой Венеры-Афродиты, даже самая божественная красота должна иметь уязвимое место; позднее знатные дамы станут насмехаться над ней за этот недостаток. Но она ослепляла его, несмотря на все пропущенные звуки.

— Ужас как, — ответил он. — И всё же я не виню его, сударыня. Вы рисковали разбить прекраснейшее создание на свете, а это создание — его собственное сокровище. Полагаю, я имею честь обращаться к миссис Харт? Наш друг предоставил нам представиться самим.

— Она самая! — сказала девушка, присев в реверансе. — Но ведь вы сами видели, сэр, как всё было! Вот мужчина, которым я могла бы восхищаться, обнял бы меня и сказал: «Эмили, такого зрелища, такой схватки я никогда не забуду! Хотел бы я собрать здесь весь Суссекс, чтобы все увидели и крикнули: браво!»

— Сударыня, именно это я и почувствовал! — степенно произнёс мистер Гревилл. — Позвольте разыграть сцену так, как вы её описали?

Он раскрыл объятия.

Она засмеялась из-за завесы волос, точно маленькая плутовка, и взбежала по ступеням. Наверху выражение её лица совершенно переменилось. Отведя волосы обеими руками, она выпрямилась во весь рост, в длинных складках сукна, и в её облике появилось некоторое достоинство.

— Сэр, я не хотела бы, чтобы вы считали меня всегда такой. Поскольку я здесь хозяйка, позвольте спросить ваше имя и приветствовать вас в Ап-парке.

Он глубоко поклонился, принимая новый тон.

— Сударыня, ваш покорнейший слуга. Моё имя — Гревилл, Чарльз Гревилл. Я давний знакомый сэра Гарри Фетерстонхо.

Она сделала вполне приличный реверанс.

— Сэр, экономка проводит вас в вашу обычную комнату. Прошу вас войти.

Он вошёл и увидел, как сияющие волосы потускнели в полумраке старинного холла. Здесь им занялись слуги, а она медленно поднялась по лестнице. Его любопытство уже не могло от неё оторваться.

К обеду она появилась за столом — очевидно, прощённая — в очень простом платье из белой узорчатой хлопчатобумажной ткани с голубыми лентами. Волосы были зачёсаны назад, открывая прекраснейший белый лоб; у самой линии их роста каштановые волны набегали на него, словно тихий прилив. Всю массу поддерживала белая повязка, обвивавшая голову на греческий лад. Но что могла знать такая девушка о богинях, которые в мраморе или в менее долговечной глине составляли общество знатоку в его лондонском доме? Он, однако, узнал это сходство и подивился.

Она посмотрела через стол на Гревилла и сдержанно улыбнулась; быть может, за этим быстрым взглядом скрывалось больше наблюдательности, чем казалось. Красивый мужчина с холодными, тонко очерченными чертами — прекрасная гравюра в технике меццо-тинто и поныне сохраняет его живой облик. Глаза несколько слишком глубоки и напряжены, чтобы вполне убедить зрителя; во всём лице есть что-то от его испытующего, оценивающего выражения. Волосы припудрены и собраны сзади в подвязанный хвост. Человек такого благородного происхождения во время революции не смог бы сойти за простолюдина, даже если бы от этого зависела его жизнь. Сдержанный, исполненный достоинства молодой мужчина тридцати лет. За столом присутствовали ещё четверо, включая сэра Гарри, и Гревилл несомненно был лучшим из них. Прекрасная Эмма поняла это инстинктивно — как женщины понимают всё подобное, — хотя её прежняя жизнь, конечно, не проходила среди Гревиллов.

«С виду прямо знатный лорд!» — подумала она, стараясь припомнить, как в хорошем обществе едят рыбу. «Без ножа — вилок и хлебной корочкой? Да, верно».

За обедом она говорила мало, лишь слегка улыбалась, когда к ней обращались, и ела тоже немного. Дамы из общества мистера Гревилла обычно только играли с едой, потом презрительным движением руки отодвигали тарелку. К этому представлению она подготовилась заранее: наверху съела огромный кусок кекса и выпила миску молока со сливками, ибо розы и лилии её красоты питались отнюдь не воздухом.

Когда блюда убрали, сэр Гарри, уже разогретый вином и настроенный великодушно, принялся живописать джентльменам недавнюю схватку. Он потребовал от Гревилла подтвердить, что миссис Харт скакала как проклятый жокей и что невозможно долго сердиться на девушку,

проявившую такую отвагу, хотя она и непослушная маленькая лисица, которой следовало благодарить судьбу за то, что к вечеру у неё остались целы хоть какие-нибудь кости.

Гревилл согласился: прекраснейшее зрелище, какое ему доводилось видеть. Не позволит ли сэр Гарри предложить тост за здоровье миссис Харт? Все выпили, трижды прокричав троекратное «ура», а героиня скромно удалилась в гостиную готовить чай. Там компанию ей составляла экономка, миссис Аптон, пока мужчины не ввалились внутрь, после чего та поспешно исчезла.

Ввалились все, кроме Гревилла. Он оставался совершенно невозмутим: происходящее было слишком любопытно, чтобы затуманивать его винными парами. К тому же он никогда не разгорячал голову без причины, хотя и умел выпить, как подобает джентльмену. Он расположился напротив Эммы, по другую сторону широкого камина, чтобы незаметно её изучать. Сэр Гарри потребовал песню, и знаток в Гревилле заранее приготовился испытывать недовольство всем, кроме зрелища прекрасных губ, открывающих врата мелодии.

Чего можно было ожидать? У павлина и фазана голоса хуже, чем скрежет сойки, а красота слишком часто звучит по-павлиньи. Она пела без сопровождения, если не считать храпа сэра Гарри, который присоединился на середине песни. Это была баллада из тех, какие ещё помнили деревенские разносчики: приятные слова, простой, выразительный напев — «Оборванные цыгане». Она исполнила её с замечательным задором и чувством.

Вчера в пуховой я постели

С милордом спала вдвоём,

А нынче в амбаре усну у крестьянина —

И будь что будет потом.

И так далее: графиня спускается по лестнице, окружённая служанками, навстречу чёрному огню глаз влюблённого цыгана — и своей судьбе.

Сама песня, однако, не затронула Гревилла: его вкус склонялся скорее к итальянскому, к чему-нибудь вроде «Luce bella», с затейливыми украшениями, трелями и блестящими фиоритурами; девушка ничего этого не знала. И всё же она приковала его внимание. Голос был великолепен: сильный, чистый, безошибочно верный в каждой ноте, благородный инструмент страсти, которым она благородно владела. Грудь её расширялась, горло трепетало, как у птицы, и песня лилась, заставляя звучать высокий потолок. Но дело было не только в голосе — какое драматическое искусство! Первый куплет она пела, скромно сидя: знатная дама спускается по лестнице, ещё помня о бархате своего платья и о том, как уложены жемчужные нити в волосах. Затем она встала, голос оживился, а под конец она широко раскинула руки и полной грудью вдохнула вольный воздух пустошей. Свобода, свобода! Жемчужные нити сорваны, босая женщина следует за своим мужчиной хоть в ад, если он позовёт. В её глазах вспыхнул дикий огонь, отвечая цыганскому пламени.

«Уйду с оборванным цыганом!»

Она оборвала песню, тяжело дыша, с поднятыми над головой белыми руками; потом опустила их и опять скромно села. Жизнь словно угасла в её лице.

— Брава, брава! — воскликнул Гревилл, звонко хлопая в ладоши.

Что за знаток самоцветов и кристаллов был бы он, если бы не узнавал драгоценность с первого взгляда? А это, клянусь всеми олимпийцами, была драгоценность! Сэр Гарри даже не пошевелился во сне; остальные слушали, разомлевшие и сонные.

— Спойте ещё, миссис Харт, — попросил один из них.

Она запела снова, но на этот раз песня не так волновала: что-то о розе и соловье, немного приторное, хотя высокие ноты были взяты совершенно чудесно.

«С обучением — настоящая примадонна! — подумал Гревилл. — А это лицо! Господи, помилуй! Как же везёт этому дураку!»

И презрительно покосился на ничего не сознававшего сэра Гарри.

— Вам доводилось видеть хорошую актёрскую игру, сударыня?

Гревилл пересел на стул рядом с ней; остальные мужчины дремали или разговаривали о лисицах.

— Да бывала я в театре несколько раз, сэр, то здесь, то там. Не скажу, чтобы что-нибудь в этом понимала. Видела миссис Сиддонс в роли леди Макбет. Господи, как страшно! У меня прямо мороз по коже пошёл, когда она появилась со свечой, вся в белом, скользя словно привидение. Вот так!

Она схватила вазу вместо свечи и медленно двинулась к нему: мёртвый взгляд был обращён внутрь, к какому-то ужасу; голова откинута, рот открыт, нижняя челюсть чуть опущена, сжатые кисти отведены назад. Всё её существо охватывал жуткий страх. Он смотрел как зачарованный. Поразительно: перед ним был не сон, а воплощённый Страх, скованный узами сна.

Проходя мимо сэра Гарри, она зацепилась за его вытянутую ногу и едва не упала, но удержалась и засмеялась.

— Чуть вазу не разбила! — сказала она со смехом, по-своему выговорив слово «ваза». — Право, сэр Гарри, разбей я её, виноваты были бы вы. Почему бы вам не отправиться в постель, если уж непременно надо так растянуться?

Это их разбудило. Вскоре сэр Гарри затянул охотничью песню, мужчины подхватили, а она ушла, всё ещё смеясь и помахав им от двери.

Но когда Гревилл сидел в своей комнате перед ярко пылавшим огнём, в котором с треском лопались буковые поленья, он не мог думать ни о чём другом. Её красота — уже одного этого было довольно. Её голос, её выразительные позы! Смутные мысли перекатывались в его уме и постепенно обретали форму.

«Интересно, что подумал бы о ней Гамильтон?»

Так он называл дядю, который был старше его на двадцать лет. С самого начала они были скорее друзьями, чем дядей и племянником.

«Все Афродиты разом ожили — с примесью Медузы и изрядной долей Евфросины. А что ещё, интересно?»

Ответа он не нашёл и с этой мыслью заснул.

ГЛАВА 2 ЗНАКОМСТВО СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

В следующие несколько дней Гревилл наблюдал за ней со всё возрастающим интересом, изучая её с той холодной точностью и взыскательным восхищением, с какими рассматривал редкости в своих коллекциях. Нетрудно было понять, почему и как сэр Гарри подобрал её; столь же легко было предвидеть, что срок, на который ей предоставлены его чувства — если это можно назвать чувствами, — окажется недолгим и истечёт по воле главной договаривающейся стороны. Сэр Гарри требовал покорности битой собаки, а девушка, как ни старалась — временами она старалась изо всех сил, — не могла ползать у его ног. В ней кипело слишком много животной жизненной силы, не говоря уже о характере, чтобы она могла стать ручной; и, подобно большинству женщин необразованного сословия, она не видела причин сдерживать язык. Стоило ей рассердиться или обрадоваться, как всё вырывалось наружу разом.

«Фетерстон не умеет с ней справиться, потому что её преклонение должно основываться на уважении, а его она не уважает. По существу, он слишком мало отличается от людей её собственного круга. Она видит его насквозь и не находит в нём ничего, что ставило бы его выше неё. Если бы ей встретился человек, превосходящий её и способный держать её твёрдой рукой, из неё можно было бы создать нечто, способное изумить свет — тот единственный свет, в котором ей когда-либо придётся вращаться».

Так думал Гревилл и, предаваясь этим размышлениям, полагал, что знает, где найти подобного человека.

Пока же она представляла собой увлекательный предмет для изучения. Отнюдь не женщина, живущая ради чувственных удовольствий, решил он; не корыстна; страсть её гораздо больше захватывает сердце, нежели чувства; в волнении она откровенна до опасности, в непокорности — до собственного ущерба. Скорее она казалась ему существом, попавшим в западню не столько по склонностям своей натуры, сколько по обстоятельствам и из-за поразительной красоты. Таковую девушку, куда бы она ни пошла, станут соблазнять, преследовать, подкупать; а если она откажет, обрекут почти на голодную смерть. Какая рассудительная женщина, например, возьмёт к себе в услужение такую Елену? Если и возьмёт, то разве что на самую чёрную работу: девушка была почти столь же невежественна и необучена, как дикие кролики в парке. Он выяснил, что она умеет читать и кое-как писать, — вот и всё. Какой же выбор ей оставался? Кто мог осудить эту бедную бабочку, которую холодный ветер унёс в открытое море? Все её великолепные дарования были от природы. Рассмотреть их, составить перечень и выяснить их цену на рынке — на рынке получше, чем продажа собственного тела первому встречному, — было бы занятием не менее увлекательным, чем любое собирательство. Он верил, что её красота способна найти иные, более высокие проявления.

Он наблюдал за ней постоянно.

Иногда она отправлялась вместе с охотниками — чего ни одна благовоспитанная дама не сделала бы — и шагала с ними по глубоко вспаханым полям, через рощицы и перелески, сквозь сухой папоротник, над которым ветвились рога высоких оленей сэра Гарри. Тяжёлая ходьба, от которой изысканная светская дама упала бы в обморок, лишь окрашивала щёки этой дочери деревенских живых изгородей божественным румянцем, а большие прозрачные глаза заставляла сиять, словно звёзды. Гревилл многое отдал бы, чтобы узнать, как она сама понимает свою жизнь и на что надеется. Лучшее, что он мог для неё предвидеть, — возможность понравиться кому-нибудь из собутыльников сэра Гарри, когда история в Ап-парке закончится, и таким образом завязать новую связь. Пока же он становился свидетелем самых странных сцен, пытаясь постичь её характер и всякий раз оказываясь в недоумении.

Однажды вечером сквайр Уэлдон из Хартинга, изрядно навеселе, заявил и поклялся, что ни у одной женщины не может быть такой копны волос; он готов держать пари, что половина их накладная.

— А знаете, почему я так думаю? — сказал он с пьяной хитростью. — Я заметил, вы всегда носите эту ленточную повязку: она поддерживает волосы и скрывает место, где настоящие соединяются с накладными. Ловкий приём, и вам идёт. Вот знал я одну женщину в Бедфорде, у неё волосы были до колен...

И он продолжал нести вздор, а девушка, держа на коленях книгу с картинками, делала вид, что не замечает его.

— Эмили! — повелел сэр Гарри, восторгнувшись в кресле. — Покажи этому джентльмену, что он ошибается. Я не позволю умалять достоинства того, что мне принадлежит. Я говорю, ты совершенная красавица, и всякому, кто это отрицает, докажу, что он неправ. Сними ленту с головы, пусть все увидят!

Он столько выпил, что Гревилл с внутренним смешком подумал: хорошо ещё, что дело ограничилось лентой. Откажется ли она? Если откажется, понравится ему больше; ведь он уже видел, как она перечила своему повелителю в куда менее важных вещах. Быть может, она ещё окажется Вашти.

Мужчины смотрели на неё и смеялись. Отказалась ли она? Ничуть! Лицо вспыхнуло — не от гнева, а от удовольствия и гордости. Глаза заблестели.

— Если кто скажет, что волосы не мои, я покажу ему, чем меня Бог наградил! — воскликнула она и принялась развязывать ленту.

Все мы знаем эту повязку, охватывавшую великолепные каштановые волны. Ромни писал её, любовался ею, задерживался на ней кистью. Это была сама Греция, хотя Эмма того не подозревала: убор вакханки, которая, подобрав платье, бежит по лесу и криками созывает своих диких спутников из укрытий, чтобы следовать за богом в леопардовой шкуре, с тирсом в руке. Мы и сегодня видим её на портретах, которым не суждено умереть, пока жива красота.

Несколько быстрых, ловких движений — и лента полетела к её ногам. Она вынула несколько шпилек, сунула их в рот, как горничная, и встряхнула головой. Поток хлынул вниз: царственная мантия, сотканная из каштанового шёлка и золота, окутала её почти до щиколоток. Она повернулась, показывая гладкие волны, переходившие на пушистых концах в чистое золото.

— Вот вам! — воскликнул сэр Гарри. — Есть у кого-нибудь из вас девушка, которая могла бы с ней сравниться? Можете потянуть, Уэлдон, если хотите убедиться, крепко ли они держатся у корней. Раскинь их, Эмили.

Она развела волосы в стороны, словно сияющие крылья, и мужчины дивились. Похвал и замечаний, питавших её тщеславие, было более чем достаточно. Но Гревилл не сказал ничего, хотя её ищущий взгляд обращался к нему. Вскоре достали карты; героиня с напускной небрежностью собрала волосы и ушла с книгой в дальний конец комнаты. За игрой о ней забыли.

Он не стал играть и немного погодя последовал за ней. Сел рядом — достаточно далеко, чтобы сэр Гарри не слышал их, но вполне в пределах его видимости. Гревилл ничем не рисковал.

Он спросил, какие картинки занимают её, и, к его удивлению, она повернула книгу, показав прекрасные иллюстрации Флаксмана к «Илиаде» и «Одиссее»: красивые, строгие, величавые фигуры, чистые и совершенные линии, во многом напоминавшие её собственную несравненную грацию. На раскрытой странице богиня Калипсо в свободном одеянии с благородно ниспадающими складками руководила постройкой корабля Улисса; ясные черты её лица говорили о родстве с небом, но любовь привязывала её к земле.

— Где вы, ради Бога, это нашли? — удивился он.

— В библиотеке, — ответила миссис Харт, с трудом справившись с лишним слогом.

— И вам нравится? Вы понимаете, что здесь написано?

— Ни слова. Но мне приятно смотреть. Женщины красивые. Я стараюсь одеваться как они. Кто это?

— Богини, — снисходительно ответил мистер Гревилл с улыбкой превосходства.

— А что такое богиня?

Он объяснил, как мог, и, не желая упускать случай преподать урок, закончил с некоторым нажимом: богини знали себе цену и стояли выше мелкого тщеславия и капризов обыкновенных женщин. Поэтому их любили и уважали.

— Вы хотите сказать, — отозвалась она, острая как иголка, — что мне не следует беситься, как я привыкла. Я знаю, вы видели, как на днях я ударила Бетти по лицу, когда она пролила чай на моё муслиновое платье. Ну, знай я, что вы придёте, я бы этого не сделала. И ещё я знаю, что сержу сэра Гарри, когда ему перечу, и мне же будет хуже. Но что мне делать, если я так чувствую? Иногда кажется, пояс на мне лопнет. Всё меня так злит!

— Вы совершаете большую ошибку, ведя себя подобным образом, раз уж спрашиваете моё мнение.

Уже сам его голос внушал ей почтительный страх: отчётливо произнесённые гласные и согласные, холодное изящество речи и манер. Сэр Гарри говорил как суссекский джентльмен, но Гревилл — как принц, думала она. В нём была спокойная отстранённость, словно он смотрел с высоты трона, и это достаточно пугало, но вместе с тем притягивало.

Женским чутьём она уловила его презрение к сэру Гарри, и уже одно это возвышало его в её глазах. Вдруг глаза её потемнели. Ей стало всё равно.

— Да какое имеет значение, что я делаю? Сегодня здесь, завтра нет, как говорится. Такие, как я, большей частью кончают в канаве. Жизнь короткая, зато весёлая — вот что я скажу! Буду жить по-своему, а кому не нравлюсь — пусть меня оставят!

Гревилл несколько не взволновался. Перевернул пару страниц и рассмотрел рисунки. Потом с подчеркнутой учтивостью произнёс:

— Вы весьма заблуждаетесь, сударыня, если считаете свою судьбу столь безнадёжной. У вас есть дарования, которые можно развить и которые способны обеспечить вам прочное положение. Пока же вы растрчиваете их — если позволите мне быть откровенным — в вульгарных... — он деликатно замялся перед этим словом, — вспышках, унижающих вас больше, чем вы заслуживаете. Очень жаль.

Её настроение мгновенно переменилось снова.

— О, сэр, умоляю, не называйте меня сударыней. Я всего лишь бедная деревенская девушка, и от этого обращения так теряюсь, что не знаю, на голове стою или на ногах. Зовите меня Эмили и, ради Бога, посоветуйте, как мне быть: я не вижу, чем всё это может кончиться, кроме того, что я опять окажусь в грязи. Вы ведь знаете, какой у сэра Гарри буйный нрав. Посмотрите сюда, наклонитесь. Он не увидит.

Косясь в другой конец комнаты, она приподняла муслиновый рукав, свободно стянутый лентой, и открыла руку, белую, как деревенские сливки, но выше локтя обезображенную тёмными синяками. На нежной коже отпечатались хватка сильной мужской руки.

— Несомненно, вы его рассердили; и всё же этого быть не должно.

Гревилл жестом велел ей опустить рукав.

— Но я хотел бы, чтобы вы знали, Эмили, — раз вам угодно это имя, — что жизнь во многом можно устроить так, как мы желаем. Вы красивы; ваш голос, если его обучить, привлечёт к вам внимание; при должном обучении я не счёл бы безнадёжным и ваше будущее на сцене. Но если вы не умеете владеть собой и трудиться, надежды нет: вас никогда не смогут уважать.

Как видите, он всё время касался этой струны. Пожалуй, нетрудно было заметить, как жадно она стремилась к одобрению и всеобщему расположению. Но уважение!

— О, сэр, кто мог бы уважать такую девушку, как я?

Прекрасные, печальные серые глаза смотрели так умоляюще, что Гревилл, предварительно убедившись, что она сидит спиной к игрокам, лениво закинул ногу в шёлковом чулке на другую и немного смягчился.

— Нет такого положения, в котором нельзя было бы заслужить уважение. Я знаком с миссис Уэллс — дамой, занимающей точно такое же положение, какое вы занимаете здесь, — и все, кто её знает, неизменно её уважают. Бушует ли она, ссорится ли с окружающими? Нет. Даёт ли чрезмерную волю чувствам и воображению, считает ли себя обиженной всякий раз, когда не все взгляды обращены на неё? Ничуть! Выставляет ли глупо и вульгарно свои прелести на радость другим мужчинам, помимо того, кому обязана своим домом? Отнюдь. Она умеет владеть собой, осмотрительна в своём обаянии, распространяет вокруг очаровательное спокойствие и обладает приятным искусством сохранять в прежнем любовнике друга, переходя к следующему счастливому обладателю.

Мудрость Змия — и Ева, слушающая как зачарованная.

Кое-что было выше её понимания, однако спокойная убеждённость Гревилла увлекла и её.

— Вот настоящая дама! — сказала она, задумчиво опустив глаза. — Только боюсь, мне до неё далеко.

И вдруг разговор принял личный оборот:

— Откуда вы так хорошо её знаете, сэр? Нет, не нравится мне эта женщина! Не стану я ей подражать.

Гревилл отодвинул стул на дюйм, перестал сидеть нога на ногу и принял исполненный достоинства вид.

— Если бы это не было речью капризного ребёнка, я бы сурово вас отчитал! Откуда я знаю миссис Уэллс, не имеет значения. Но, чтобы пояснить мою мысль, скажу: эта дама находилась и находится под покровительством людей самого высокого происхождения и воспитания. У них она научилась хорошим манерам и...

— О, мистер Гревилл, ответьте только на одно: она у вас?

Лицо её выражало такую тревогу и нетерпение, что он опять немного смягчился.

— Разумеется, нет. Но иногда я имею удовольствие встречать столь приятную особу в доме одного друга и считаю её превосходным примером для молодой женщины вроде вас. Мужчина всегда должен уважать осмотрительность в женщине, и если...

Она снова перебила; слова неудержимо полились:

— О, я буду у неё учиться, непременно буду! Она не распустила бы волосы напоказ мужчинам. Разве я не увидела неодобрения в ваших глазах? Но почему вы были недовольны? Скажите, и я изо всех сил постараюсь понять. О, какого друга я могла бы иметь в вас, если бы заслужила! Никто на свете прежде не говорил со мной так; никому до меня и дела не было, лишь бы я их развлекала.

Мистер Гревилл принял свой лучший наставительный тон — тот самый, который сердил многих мужчин, но, благодаря прекрасному произношению, производил впечатление на женщин, начиная с герцогинь и кончая знакомыми ему миссис Уэллс.

— Нет, я не мог одобрить этого. Вы, несомненно, понимаете: так вы обесцениваете своё расположение, а всё дешёвое вызывает презрение. С прочими мужчинами, кроме того, кто вас содержит, следует быть вполне приветливой, но соблюдать приличную сдержанность; и прежде всего избегать поступков, способных рассердить человека, от щедрот которого вы зависите.

— От щедрот! — воскликнула прекрасная слушательница и тотчас сдержалась, хотя грудь её тяжело вздымалась.

— От щедрот, — твёрдо повторил наставник. — Он взял вас к себе, чтобы вы украшали его дом и делали его жизнь приятнее. И хотя сэру Гарри не достало воспитания, чтобы возра-

зять против сегодняшнего представления, вы нередко перечите ему больше, чем следует. Сам я не одобряю его образа действий. Будь девушка с вашими способностями в моём распоряжении, я позаботился бы о её образовании. Полагаю, вы могли бы вознаградить эти труды.

Наступила пауза. Долгая. Затем ученица тихо сложила руки и, глядя на него влажными глазами, прошептала:

— О, если бы я была у вас! Если бы только была!

На этом разговор пока закончился: Гревилл тотчас встал и с каким-то лёгким замечанием принялся рассматривать картины на стенах. Он медленно обходил комнату, заложив руки за спину, затем снова присоединился к игрокам и, когда партия завершилась, поздравил сэра Гарри с его приобретениями. Однако о самом удивительном из них не упомянул и впоследствии приближался к нему с осторожностью. Тем не менее разговор время от времени возобновлялся и неизменно шёл в том же направлении: её возможности, недостатки, поведение и надежда, которая могла бы озарить будущее, если она заслужит лучшую участь.

В одном из углов дома было укрытое от ветра место, где она сидела в солнечную погоду. Здесь он иногда заставлял её с книгой: она старалась понять, что хотел сказать автор. Однажды нашёл с письменными принадлежностями — она упражнялась в письме. Это было трогательно, а глаза, поднявшиеся к нему из мягкой тени широкополой шляпы, трогали ещё больше.

— Я стараюсь как умею, мистер Гревилл, только умения мало! — сказала она, показывая ему неровные буквы. — Ах, если бы меня учили, какая девушка могла бы из меня получиться! Без образования ничего не добьёшься.

Она повторяла его мысли с точностью эха. Такова была её натура, хотя он этого не понимал. Подобно хамелеону, она принимала цвет листа, под которым находила укрытие: с сэром Гарри становилась шумной и неотёсанной, с Гревиллом — тихой и привлекательной; а за этими чертами скрывалась ещё сотня других, готовых ответить тем, с кем ей предстояло встретиться. Был ли под всем этим какой-нибудь подлинный, устойчивый характер? Бог знает! Её настроения были столь же переменчивы, сколь страстны в каждое отдельное мгновение.

Теперь и всегда она оставалась ученицей, а Гревилл — снисходительным наставником. Впоследствии это оказалось полезным для неё не меньше, чем для него. Они подходили друг к другу, как кусочки мозаики.

Он посмотрел на разбегающиеся буквы, кляксу наверху, правописание.

— Вы действительно делаете успехи, Эмили. Когда я уеду, не буду возражать, если вы раз или два напишете мне о своих новостях. Возможно, в феврале я снова буду здесь и возобновлю знакомство.

— Знакомство! — горячо воскликнула она. — Нет, я не понимаю этого слова, мистер Гревилл. Вы пробудили во мне желание стать лучше, и я считаю вас настоящим другом. Я буду добросовестно заниматься по два часа каждый день, пока снова не испытаю счастья увидеть вас.

В эту минуту она, вероятно, говорила искренне; однако почти наверняка не сдержала бы обещания, как только бдительный взор учителя переместится в Лондон. Но такая возможность не приходила Гревиллу в голову, когда он оценивал силу своего влияния.

— Вы отдаёте себе должное, дорогая моя Эмили. Я искренне желаю видеть ваши успехи и...

Она уловила одно слово и задержалась на нём, словно лаская его нежностью голоса.

— Ваша дорогая Эмили! Неужели бедная несчастная девушка может стать дорогой Эмили Гревилла? О, как я была бы счастлива, будь это возможно! Но нет, никогда, никогда этого не будет. Вы скоро уезжаете?

— Через четыре дня. Однако я не совсем забуду о вас. Время от времени буду задаваться вопросом, прилежна ли Эмили и любит ли свои занятия.

— Будет прилежна, непременно будет! — тихо воскликнула ученица. — И когда вы придёте снова, скажете: «Миссис Уэллс превосходна, но и Эмили делает успехи и ведёт себя так, как я желаю». О, Гревилл, вчера сэр Гарри швырнул в меня сапог, потому что я не хотела подать ему другой, а Хокинс был внизу. И уж очень мне хотелось броситься на него и запустить сапогом ему в голову. Но я не стала. Вспомнила ваши слова, подошла и принесла. «Сэр, — сказала я учтиво, — не стану подражать вашим дурным манерам. Вот ваш сапог; когда спущусь, попрошу Хокинса прийти к вам». Хорошо я поступила?

— Превосходно... в общем, — ответил Гревилл с оговоркой. — Но о дурных манерах можно было не упоминать. Мужчины не любят упрёков. Нежность и ласковая кротость лучше помогли бы вам добиться своего. Опять же, не думайте, что я защищаю сэра Гарри; однако женщине надлежит уступать и мягко приспосабливаться к требованиям мужчины.

Со слезами на глазах она признала его правоту и обещала отблагодарить за участие, послушно исполняя его советы.

Её покорность восхищала его. Он знал, что она искренна, — и так оно и было, — но считал её не отдельной золотой жилкой, а самой основой её натуры. Чего он не мог понять, так это того, что бурные сцены с сэром Гарри, разудалые песни и шутки с его приятелями были столь же естественны и тоже составляли часть её многокрасочного темперамента. Она становилась именно такой, какой была её среда. Жизнь для неё была драмой, и она играла роль, которую назначала минута, смело приспосабливаясь к своим партнёрам. Она отражала их характеры с ещё большей яркостью, стремясь лишь завладеть партией примадонны и удержать её, какой бы та ни оказалась. Всё это было инстинктивно. Она не сознавала, что привязывает к себе Гревилла, потакая его желанию наставлять и разглагольствовать, излагать запас своих нравов учений там, где их выслушают с благоговением, и возвеличивать себя, показывая совершенное творение, которое сам открыл, — женщину или кристалл. И всё же она это делала; имея она карту всех извилин его мысли, лучше действовать не смогла бы.

Не в этом ли тайна бессмертной сирены, которая смотрит на нас со страниц истории столькими победоносными лицами: уловить и повторить возлюбленного, но прибавить к его образу страсть женской природы и темперамента, вложенную в медвяные губы, созревшие для поцелуев? Быть может, греки стремились выразить именно эту истину, говоря, что каждый мужчина видел в троянской Елене усладу своего сердца в том облике, который любил больше всего; а такой облик, можно полагать, чаще всего оказывается отражением его самого. Ведь не нимфа, а юноша Нарцисс влюбился в своё отражение в воде — и влюбляется в него вечно.

До истечения четырёх дней у него произошло с нею ещё несколько кратких встреч, и с каждой она удивительным образом всё сильнее его пленяла. Вмешиваться в отношения другого мужчины с его любовницей противоречило его правилам; подвергать себя неизбежным осложнениям — совершенно не соответствовало его склонностям. Сэр Гарри встретил бы такое вторжение в свои владения громкими жалобами и руганью, и клубы зазвенели бы от его праведного негодования. Будьте уверены: Гревилл вовсе не собирался нарушать собственный спокойный уют и рисковать тем, что выставит себя смешным ради женщины с репутацией Эмили Харт. Но столь же твёрдо он решил не терять её из виду.

По-настоящему они простились за день до его отъезда, в парке. Он встретил её, когда она возвращалась после благотворительного посещения какой-то деревенской старушки: в руке покачивалась корзина, а отороченный мехом плащ придавал её цветущей красоте необыкновенную мягкость и нежность. Он похвалил её доброе сердце — и это было лишь справедливо, — но не упомянул, что увидел её из своего окна и поспешил короткой дорогой через сад, чтобы поговорить напоследок. Такое признание придавало бы ей слишком много уверенности.

— Завтра мы расстанемся, Эмили, — сказал он с некоторой торжественностью. — Поскольку при посторонних я не смогу повторить своих слов, позвольте выразить надежду, что вы их не забудете: теперь всё ваше будущее зависит от вашего поведения. Вам ещё нет

семнадцати, и благополучие и прочное положение вполне могут стать вашим уделом, если вы будете осмотрительны и научитесь владеть своими порывами. В этом весь секрет. Несдержанность губила вас прежде и будет губить впредь, если вы её не обуздаете.

Несомненно, этот молодой человек, шедший рядом с ней и поучавший её, должен показаться законченным педантом и прирождённым проповедником безнравственной нравственности. Природа была силой, которую он боялся и презирал; в самом себе он тщательно подрезал и прививал её, чтобы никакие мятежные побег и усики не нарушали его покоя. Но вопреки всем его мудрым изречениям и примерам из жизни, в этой девушке таилась способность расцвести с тропической пышностью, увенчаться венками, о которых и не снилось его сухой философии, и заставить дивиться весь мир. Если бы она сумела подрезать, подравнять и остричь свою натуру, как изо всех сил пыталась ради него, того необычайного и блистательного будущего никогда бы не было.

Однако она пылко обещала послушаться — с горячностью, которую он счёл чрезмерной, — и прибавила:

— А можно мне писать вам, Гревилл? И не станете ли вы презирать мои бедные письма? И будете ли по-прежнему заботиться обо мне и напишете ли, чтобы сказать об этом?

— Разумеется, вы можете написать мне, если возникнет необходимость, дорогая моя Эмили: ваше внимание ко всему, что я говорю, убеждает меня, что у вас есть хорошие качества. Сам я, естественно, не могу вам писать. Это означало бы поступить с сэром Гарри так, как я не могу и не желаю поступать, и могло бы иметь неприятные последствия. Дайте мне знать, если случится что-нибудь, что разлучит вас с ним. Полагаю, когда этот день наступит, вы обнаружите, что он обеспечит вас в знак признательности за ваше поведение.

Об обеспечении она не думала. Сознание того, что Гревилл уходит из её жизни, быть может навсегда, заглушало и эту мысль, и все остальные. Она схватила его руку и посмотрела на него дрожащими губами.

— О, как мне отблагодарить вас за божественную доброту к такой бедной девушке, как я? О, Гревилл, Гревилл, не забывайте меня! Но ведь не забудете, хоть вы такой важный господин, что рядом с вами сэр Гарри и все остальные кажутся суссекскими мужланами. А сколько вы знаете! Есть ли хоть что-нибудь, чего вы не знаете? То, о чём я и не слыхивала, на что никогда не смею надеяться. О, если я больше никогда вас не увижу — не дай Бог, ведь вы непременно должны приехать в феврале, — я буду помнить вас до самой смерти и говорить: «Гревилл не презирал бедную Эмили. Он знал, что у неё есть сердце, способное чувствовать слова, которыми он её удостоил... и любить его! Любить его!»

Теперь она рыдала, уже не владея собой. Он быстро и осторожно огляделся и увёл её в тень вечнозелёной рошцы, которую нельзя было увидеть из окон дома: никто не должен был заметить этого волнения. Здесь он стал убеждать её успокоиться — напрасно.

А раз ей это не удавалось, он неизбежно должен был обнять прекрасную плачущую девушку. Её щека прижалась к его щеке, губы встретились; корзина лежала забытая у их ног.

Ей пришлось ещё немного остаться в тени, чтобы вытереть слёзы, когда он широким шагом отправился навстречу джентльменам, возвращавшимся с охоты. Он ни разу не оглянулся.

На следующий день в холле миссис Харт прелестно присела в реверансе в ответ на прощальный поклон мистера Гревилла. Его почти оглушали громкие настояния сэра Гарри непременно вернуться в феврале.

ГЛАВА 3 ВЗРЫВ

В феврале Гревилл не вернулся. У него были другие, более важные приглашения, а время несколько притупило сильное впечатление, которое произвела на него Эмили Харт. Она писала не раз: почтительные письма, полные ошибок, памятники упорного труда — труда любви, и не вполне напрасного.

Он также видел её дважды: она настояла перед сэром Гарри на поездке в Лондон, чтобы навестить мать — простодушную, добрую старушку, теперь украшенную замечательным именем миссис Кадоган — Бог знает почему! Благодаря влиянию самого Гревилла она служила кухаркой в одной из многочисленных семей, связанных родством с Гамильтонами и Гревиллами. Он не вполне одобрил приезд девушки в Лондон. Её восторженность и энергия не столько согревали его прохладную кровь, сколько тревожили. Он соглашался видеть её только в присутствии миссис Кадоган и, хотя снисходительно ободрял в духе своей нравственно-бездарственной морали, держался настороже. Стремление к материнскому обществу могло ввести в заблуждение сэра Гарри, но не его.

После последнего приезда миновали месяцы; пришло ещё одно или два письма, затем наступило молчание. Разумеется, ему было неприятно думать, что о нём могли забыть и что она так уютно устроилась у сэра Гарри, что все прочие интересы постепенно поблекли. Однако это было возможно. Короткие письма, во всяком случае, не обнаруживали ни следов занятий, ни успехов: следовательно, его наставления она стала ценить меньше. Почему-то это его задевало. Были затронуты и любопытство, и тщеславие; нарушив правило, от которого почти никогда не отступал, он написал ей несколько дружеских строк — не более.

Однажды утром он сидел в своём лондонском доме, в расшитом турецком халате, и приводил в порядок небольшой шкафчик с геммами и инталиями, принадлежавшими его дяде, сэру Уильяму Гамильтону. По прибытии коллекции в Лондон Гревилл взял на себя заботу о ней. Рядом на столе лежало письмо, в котором он сообщал о её получении.

«Дорогой мой Гамильтон, — начиналось оно: так он всегда обращался к дяде, который был ему почти братом, — я никогда не видел ничего прекраснее этой Медузы на агате. Обыкновенное ваше везение по-прежнему вам сопутствует...»

И так далее. Все его мысли были заняты коллекцией; тонкими пальцами он передвигал и перекладывал прекрасные окаменелости античного искусства. Ему очень хотелось, чтобы хотя бы часть их принадлежала ему самому: накануне вечером перечень расходов доставил ему некоторое беспокойство, и теперь предстояло выбирать — отказаться от кое-каких предметов роскоши или продать одно-два сокровища, чтобы свести концы с концами. Младший сын знатной семьи часто сталкивается с подобными небольшими затруднениями. Нелегко быть одной плоти и крови со старшим братом и видеть, как все деньги, земли и почти всё общественное почтение текут в его русло, оставляя младшее сухим.

«Богатая жена? Верно, но тогда...»

Сейчас, однако, его занимали геммы. Он склонился над шкафчиком, всецело поглощённый работой, когда слуга принёс письмо, написанное неровным почерком и запечатанное; по бумаге были разбросаны капли сургуча, словно отправитель пребывал в крайней спешке и волнении.

В эту спокойную, уединённую атмосферу изысканной культуры и тишины оно упало, как метеор из другого, более вулканического мира потрясений. Но Чарльз Гревилл не поторопился, хотя и узнал почерк. Он продолжал своё тонкое занятие, пока всё не было аккуратно разложено, шкафчик заперт, а ключ убран в карман. Лишь после этого разрезал бумагу серебряным ножом и развернул перед собой большой лист. На почтовом штампе значился Честер, что несколько его удивило.

Господи! Этот грубый зверь сэра Гарри! Он выбрасывал её в мир — беременную, без единой гиней, семнадцатилетнюю девушку! Но ещё прежде, чем Гревилл дочитал письмо, осмотрительность подсказала ему: весьма вероятно, она сама навлекла на себя эту участь какой-нибудь непростительной легкомысленной выходкой. Осторожность, осторожность! На этом основывались все его мысли при чтении. Письмо звучало как крик истерзанного, неразумного животного — зайца, попавшего в капкан и ожидающего своего убийцу. Сам заяц не тронул бы его, но это письмо всё же несколько взволновало.

«Только вчера получила я ваше доброе письмо. Оно немного меня ободрило, потому что, поверьте, я почти обезумела. От сэра Г. я ничего не слыхала, и теперь его, я уверена, нет в Лечестере. Я написала семь писем, и никакого ответа. Что мне делать? Боже милостивый, что мне делать? В город я приехать не могу, нет денег. У меня ни фартинга за душой, и мне кажется, мои друзья смотрят на меня холодно. Мне так кажется. О, Г., что мне делать? Ах, как меня тронуло ваше письмо, когда вы пожелали мне счастья. О, Г., будь я у вас или у сэра Г., какой счастливой девушкой я бы была! Девушкой, да! Кто же я ещё, если не девушка в беде — в настоящей беде. Ради Бога, Г., напишите в ту же минуту, как получите это, и только скажите, что мне делать. Адресуйте туда же. Я почти сошла с ума. О, ради Бога, скажите, что со мной будет. О, дорогой Гревилл, напишите мне. Напишите мне. Г., прощайте и верьте, что я навеки ваша, Эмили Харт. Не говорите моей матери, в какой я беде, и дайте мне хоть немного утешения».

Странное письмо для человека его возраста — ведь лично его оно не касалось. Он сидел и смотрел на него с неприязнью, к которой примешивалась жалость. Девушки, не имеющие никакой защиты в мире, созданном мужчинами и для мужчин, должны быть готовы к страданиям; но всё же она была очень молода, а сэр Гарри, при всём своём изобилии, — скотина.

Он долго сидел: обдумать предстояло многое, и даже больше для себя, чем для неё. Мысленно составил две колонки — за и против того, о чём она явно молила. Девушка ему по-своему нравилась; её послушание доставляло удовольствие; её страстное, покорное преклонение перед его величием покоряло; красота волновала сильнее любой другой, какую ему доводилось видеть. Тут он остановился, быстро перебрал прошлое и, решив, что это несомненно так, перешёл к следующему соображению.

Если снять для неё небольшой дом в предместье и сделать его своим главным местопребыванием, можно продать или сдать этот большой особняк на Портман-сквер и провести некоторое время в скромной экономии, пока не найдётся вполне подходящая наследница. В конце концов ей предстояло стать достойной миссис Чарльз Гревилл и предоставить ему неограниченные средства для приобретения художественных редкостей. Подобная экономия в настоящий момент могла оказаться чрезвычайно полезной.

И наконец, оставалась жалость. Сердце Гревилла всё-таки не было таким же минералом, как предметы его коллекций. Оно должно было бы окаменеть насквозь, чтобы безнадежное положение отчаявшейся юности не вызвало в нём сострадания. Но до этого ещё не дошло.

Он вспомнил большие страстные глаза, влажные от слёз, которые смотрели в его глаза в вечнозелёной рожице. Вспомнил долгое объятие. Вспомнил её почти иступлённую радость, когда во время поездок к матери, именовавшей себя миссис Кадоган, она выходила из почтовой кареты в Лондоне и видела его ожидающим — с безукоризненными манерами знатного господина, который роняет подобные милости, словно пустяки, с холодных высот. Как она была прекрасна — сияющая, улыбающаяся, трепещущая, радостная, словно нарцисс под весенним ветром!

Он вспомнил также — ибо осмотрительность была главной добродетелью этого джентльмена, — что присутствие миссис Кадоган в Лондоне избавит его от немалой доли забот, если он решит проявить великодушие. Кроме того, ему доводилось слышать, что она непревзойдён-

ная кухарка. При необходимости мать, естественно, разделит судьбу дочери и станет верной блюстительницей её интересов.

Однако в другую колонку следовало занести ненадёжность подобной связи. Разумеется, на его собственной репутации она не отразится, но он знал переменчивый нрав Эмили; а её поведение с ним, пока она принадлежала сэру Гарри, несомненно давало основания предполагать легкомыслие, которого он не потерпел бы ни минуты. Но, с другой стороны, почему он должен был бы его терпеть? Весьма скромное содержание всегда позволит ему освободиться от неё, особенно если на заднем плане останется миссис Кадоган.

И хотя денег на бесцельное расточительство у него не было, для удовольствий, устроенных с разумной осмотрительностью, средств вполне хватало. Прежде всего он возлагал все надежды на послушание Эмили и на потрясённую благодарность, которая при малейшей снисходительности теперь накрепко привяжет её к нему. Он уже представлял, как она бережёт каждый пенни, с нежной покорностью ловит каждый его взгляд, прекрасная, обожающая, — более кроткая Ева, заключённая в раю, куда не войдёт ни один другой мужчина. Разве стал бы он подвергать её ухаживаниям компании гуляк, подобных приятелям сэра Гарри? Никогда!

Но последней мыслью, окончательно укрепившей его решение, было то, что никому ещё не доставалась более удивительная ученица. Чем дольше он рассматривал и разбирал её достоинства, тем твёрже убеждался: перед ним необработанная драгоценность большого веса, способная засверкать множеством граней. Ограничить, отполировать, сделать из неё даму, светскую женщину сомнительной репутации, блистательную Аспасию, которая поёт, принимает выразительные позы, играет, становится предметом всех желаний, — это принесло бы ему славу и зависть в его кругу, а мужлану, выбросившему её, словно обыкновенный камешек, — презрение.

Наконец он увидел свой путь. Подвинул к себе письмо, прочитал ещё раз и принялся за ответ. Словом, он решил, что сумеет ею управлять.

«Дорогая моя Эмили, я не оправдываю поведения сэра Г. по отношению к вам; и хотя я советовал вам заслужить его уважение хорошим поведением, признаюсь, лучшего я от него никогда не ожидал. Вашим долгом было заслужить хорошее обращение, и меня весьма огорчило ваше неблагоразумие, когда вы впервые приехали из деревни. Поскольку то же поведение повторилось и во время последнего вашего пребывания в городе, я начал терять надежду на ваше счастье. Чтобы доказать, что обвиняю вас не напрасно, напомним лишь о пяти гинеях и половине гинеи на экипаж. Но, дорогая моя Эмили, поскольку теперь вы, по-видимому, совсем несчастны, я хочу принести вам не тревогу, а утешение. Поэтому скажу: я забуду ваше дурное поведение по отношению к сэру Г. и ко мне и не пожалею о своей доброте, если увижу, что опыт научил вас ценить себя и сохранять друзей хорошим поведением и привязанностью.

Теперь отвечу на ваше письмо.

Вы говорите, что друзья смотрят на вас холодно; следовательно, пора их оставить. Но прежде чем приехать в город, вам необходимо решить некоторые вопросы. Вы понимаете, что в ближайшие три месяца ваше положение не позволит вам вести легкомысленную жизнь, даже если бы вы этого захотели. После ваших слов о том, что сэр Г. не содержит вас и не обращает внимания на ваши письма, совет добиться от него большей доброты и заботы мог бы показаться насмешкой. Я не думаю, что следует терять на это много времени, ибо никогда не видел женщины настолько искусной, чтобы удержать мужчину, которому она надоела. Но для меня гораздо серьёзнее посоветовать вам больше никогда с ним не видеться, а написать лишь для того, чтобы известить о своём решении. Однако вы должны выбрать одно из двух. Вы легко поймёте, дорогая моя Эмили, почему совершенно необходимо решить этот вопрос прежде, чем я смогу сделать хоть один шаг. Если вы любите сэра Г., вам не следует от него отказываться.

Кроме того, моя Эмили, я ни за что на свете не желаю хлопот с вашими знакомыми — за исключением вашей матери — и с друзьями сэра Г. Поэтому советую вам принять твёрдое решение.

Тогда я смогу осушить слёзы моей прекрасной Эмили и утешить её. Если вы не утратите моего уважения, быть может, моя Эмили станет счастливой. Вы знаете, я был счастлив, избегая огорчений, которые так часто происходят от неблагодарности и капризов.

Ничто, кроме вашего письма и вашей беды, не могло бы склонить меня изменить заведённый порядок жизни. Но помните: я никогда не пожертвую своим покоем и не продолжу нашу связь ни единой минуты после того, как моё доверие будет обмануто. Если вы приедете в город и последуете моему совету, вам следует принять другое имя. Постепенно я введу вас в новый круг знакомых; если вы сохраните свою тайну, я вправе ожидать, что вас будут уважать и вами восхищаться. Это всё, что касается вас самой. Что до ребёнка, его мать обеспечит ему мою заботу, и он никогда не будет нуждаться. Вкладываю немного денег: не растратьте их. Благослови вас Бог, моя дорогая прекрасная девушка; примите решение и напишите мне ещё раз. Прощайте, дорогая моя Эмили».

Он дважды перечитал это послание — некоторые его места здесь опущены, — затем сложил и запечатал с обычной безупречной тщательностью. Он знал, что для глаз, омочённых дождём слёз, оно засияет радугой среди самых чёрных туч.

«У меня три надёжных средства, — размышлял он, прижимая к сургучу сердоликовую печать с летящим Эротом. — Деньги: у неё их нет, и никаких видов на будущее. Ребёнок: кто ещё потратит на него хоть грош? И благодарность — если только старуха-мать не подговорит её повыгоднее сбыть такую красоту».

Заметим, что благодарность Гревилл поставил последней. Он гордился своим знанием человеческого сердца, особенно женского. Итак, письмо было отправлено.

На следующий день он написал дорожному Гамильтону. Их связывал приятный обмен не только художественными редкостями, но и рассказами о маленьких прегрешениях. В письмах к Гамильтону он любил разбирать безнравственность так же тщательно, как в собственных размышлениях, и теперь поступил именно так: кратко остановился на предполагаемом устройстве жизни и подробно — на причинах, побуждавших его к этому.

Прошлого своей Эмили он не пощадил. Безупречное прошлое при подобных обстоятельствах показалось бы сэру Уильяму столь же нелепым, как и ему самому; скрывать что-либо он не намеревался. Зато это давало повод для рассуждений о женщинах, которые он втайне считал достойными соседства с афоризмами великих умов. Впрочем, для человека тридцати с небольшим лет они действительно были недурны. Вот что он писал о слабом поле:

«Я замечаю, что для женщин единственным средством остаётся хитрость; для них нет промежутка между ровной землёй и пропастью, а побуждения к действию так сильно тяготеют к крайностям возвышенного и низкого, что мужчины не могут вполне на них положиться...»

И так далее: Ларошфуко, разбавленный водой, — но на сэра Уильяма Гамильтона это производило большое впечатление. Хотя он был старше, светская ловкость и тонкость его краcивого племянника сильно на него действовали.

Во всяком случае, красоте Эмили Гревилл отдал должное. Или, как он теперь настойчиво называл её, «Эммы»: это имя было в моде как романтический вариант, и она охотно приняла его, согласившись на предложенную перемену.

«Эмма, — писал он, — самая поразительная красавица, какую когда-либо видели мои глаза. Мне очень хочется, дорогой мой Гамильтон, чтобы вы подтвердили моё мнение: в целом ни одному из нас не встречалось ничего равного ей. Рассматривая её как человек, изучающий совершенный античный образец, я не знаю, какой перемены мог бы пожелать в её лице или фигуре, разве что несколько большей изящности кистей и ступней. Масса её волос поднима-

ется над таким же низким и широким лбом, как у Клитии; длина и округлость шеи напоминают нашу римскую Венеру, очертания спины и груди — Венеру на корточках, и...»

Но зачем продолжать? Всё, что они с сэром Уильямом когда-либо с восхищением рассматривали в Италии, было призвано на помощь, чтобы создать в воображении старшего самый прекрасный образ, какой только способны составить слова или нарисовать память.

«И даже это уступает действительности, — заканчивалось письмо. — Можете ли вы представить человека настолько грубого и глупого, чтобы выбросить такую драгоценность — самое совершенное живое воплощение античности, какое когда-либо видел человеческий глаз? Надеюсь сделать из неё по-настоящему экономную хозяйку: вы знаете, мои нужды настоятельны, а дом на Портман-сквер страшно истощает мои средства. Теперь я намерен сдать его».

В ответ сэр Уильям выразил страстное желание увидеть эту красавицу эпохи Возрождения, как он её назвал.

«По вашему описанию Эмма напоминает одну из роскошных венецианских красавиц, чьи спокойные, благородные линии воскрешают античное достоинство великих римских семейств. Надеюсь, недолго ждать, прежде чем я услажу взор вашим избранным сокровищем».

С определением «спокойные» Гревилл согласиться не мог. Несколькими днями ранее он встретил Эмму у конторы почтовых карет из Чешира и с большим трудом удержал её от того, чтобы в пылу радости и восторга броситься ему на шею прямо на людях. Ему удалось отвести эту опасность, пока они не сели в наёмную карету; но там, что бы он ни делал, она припала к его плечу, рыдая и смеясь одновременно.

— Я знала, знала ещё в Ап-парке, что из этого что-то выйдет. О, Гревилл, я знала, что вы не можете быть так добры ко мне просто так. Я ведь создана, чтобы служить вам и любить вас. Неужели правда, настоящая правда, что я буду жить у вас и вести ваш дом? О, вам никогда не придётся на меня жаловаться. Каждое слово я буду обдумывать, каждый поступок...

Он тщетно пытался остановить этот поток. Убедившись, что это невозможно, терпеливо выслушивал её на протяжении целой улицы, а затем перевёл разговор на поездку. Достаточно ли денег он прислал? Она пошарила в кармане под длинным плащом и достала маленький потёртый кошелек, в котором лежали полгинеи и несколько шиллингов.

— Неужели я рассчитал так впритык? Знай я это, прислал бы больше.

Он с сожалением смотрел на остаток денег.

— О, Гревилл, вы прислали щедро! Но в карете была бедная старушка: ехала в Гринвич к больному сыну, моряку. Я не могла допустить, чтобы она осталась без еды и без глотка чего-нибудь согревающего для её бедного старого сердца, и дала ей...

Холодный взгляд Гревилла остановил её. Она подняла глаза, почти дрожа.

— Вы отдали ей мои деньги!

После каждого слова следовала страшная пауза.

— Гинею? Эмма, вы безнадежны. Право, я не питаю никаких надежд. Беспечная, расточительная девушка! Когда же вы начнёте думать?

Молчание. Голова её поникла, словно цветок под дождём. В своё оправдание она не сказала ни слова.

Вскоре он смягчился, и она ожила так же быстро, как собака, которую побили, а потом опять приласкали. Она горячо обещала исправиться.

— Я должна давать, Гревилл. Почему-то не могу отказать. Но обещаю и клянусь: никогда не больше полпенни за один раз. Вы позволите? Всего полпенни.

Даже Гревилл не удержался от улыбки. Против этого он возражать не станет. Они условились.

Он отвёз её к миссис Кадоган, присутствовал при встрече, несколько скованной его величественным присутствием, снисходительно осмотрел две комнаты, снятые за его счёт, и удалился. Снова видеть мать или дочь он не намеревался до тех пор, пока дом в Эджвер-Роу, на

Паддингтон-Грин, не будет готов принять жильцов, а его новая хозяйка — приступить к своим обязанностям.

Её беременность неприятно задевала его взыскательный вкус, хотя сама она переносила её со здоровьем и телесной беззаботностью крестьянки, для которой подобные вещи — обыденная часть природного порядка, и по-женски умело драпировалась плащом.

По случайному совпадению двумя вечерами позднее он встретил сэра Гарри Фетерстонхо в Олмаксе и вынужден был ответить на приветствие, которого охотно избежал бы.

— Как же это вы так и не приехали этой зимой? Не помню, чтобы птица когда-нибудь летала так сильно. Собрал я всю прежнюю компанию, и охота была отличная.

— А с гончими? — спросил Гревилл.

— В общем, тоже хорошо. Долгих сильных морозов не было. Ах да! Вы слышали, та девчонка, что жила у меня, ушла? Эмили Харт.

— Кажется, слышал, теперь вы напомнили.

Гревилл рассеянно смотрел на танцующих в соседней комнате. Сэр Гарри не мог утешиться мыслью, что сумел заинтересовать слушателя.

— Да, и если услышите, будто я был с ней жесток, прошу опровергнуть. Говорят, Уэлдон заявил, что дал бы ей приют, знай он обстоятельства. Так вот, сэр, обстоятельства были такие. Эта девчонка поднимала сущий ад, стоило хоть в чём-нибудь ей перечить. И я спрашиваю вас, как разумного человека: должен ли мужчина терпеть подобное от простой потаскушки? А потом, она не умела вести себя с мужчинами, которых я привозил. Если не нравились — держалась в стороне и смотреть на них не желала; если нравились — становилась слишком дружелюбной. Заметьте, я не обвиняю её ни в чём, кроме запанибратства. Но кто, спрашиваю я, такая эта особа, чтобы потакать своим прихотям, когда ей следовало думать лишь о том, как угодить мне?

Гревилл ответил невнятным бормотанием. Несомненно, он испытал облегчение, обнаружив, что обвинение не тяжелее. Оно могло бы оказаться таким, что разрушило бы его мечты о спокойном устройстве жизни.

— Ну, я и сказал прямо: надо расстаться. А прояви она хоть каплю доброго нрава, даже тогда я, может быть, смягчился бы...

— Извините, вижу человека, с которым мне необходимо поговорить. Срочное дело. Скоро вернусь!

Гревилл поспешно отошёл, оставив баронета смотреть ему вслед с недоумением. Тем более что направился он не к мужчине, а к чрезвычайно величественной и красивой даме средних лет — знаменитой герцогине Аргайл, прежде герцогине Гамильтон, кузине его дяди, сэра Уильяма Гамильтона. Звёзды такой величины почти не сияли на личном небосклоне сэра Гарри. Он несколько кисло наблюдал, как Гревилл, совершенно непринуждённый, смеясь и разговаривая, сопровождал знатную даму в танцевальную залу.

«Не напутал ли я чего, рассказывая об этой маленькой фурии? — подумал он. — Не хотелось бы лишиться доброго мнения Гревилла, совсем не хотелось бы. Но всё-таки рад, что от неё избавился! Мужчине нужно новое лицо рядом, и хозяином он должен быть безоговорочным».

Поскольку здесь я прощаюсь с сэром Гарри, можно рассказать о его дальнейшей судьбе. Следующей его переменчивое внимание привлекла хорошенькая добродетельная девушка, дочь одного из деревенских работников. Она решительно отвергла его тайные домогательства. Возможно, приключения миссис Харт, хорошо известные в деревне, послужили ей предостерегающим маяком в опасных водах. Она отказывала спокойно, но твёрдо; и чем больше он метался, тем глубже крючок вбивался ему в жабры.

Он был человеком, который не выносил поражения и должен был добиться победы, какой бы разорительной ни оказалась цена. Друзья следили за борьбой с интересом, выражавшимся

главным образом в крупных пари; но даже это обстоятельство, прекрасно ему известное, не спасло его от судьбы гораздо более счастливой, чем он заслуживал. Девушка вышла за него замуж и стала превосходной женой, леди Фетерстонхо, рассудительной, благонравной хозяйкой его большого дома. По воспитанию и нраву она подходила ему куда лучше, чем дама знатного происхождения. Человеку, грешившему меньше, нередко доставалась менее удачная спутница, чем этому джентльмену, не получившему по заслугам.

Гревилл, однако, никогда не ставил её светлость в пример своей Эмме. Он полагал, что столь удивительное обстоятельство могло бы возбудить в ней надежды именно того рода, какого он меньше всего желал допустить в её мысли. Лишь много лет спустя она узнала о судьбе своего прежнего поклонника. Тогда она уже могла над этим смеяться — по причинам, которых Гревилл не предвидел бы и в самых необузданных своих мечтах.

Так события шли своим чередом. Родилась «маленькая Эмма», и её отправили на попечение в далёкую деревню Хаварден, откуда происходила её мать: близость ребёнка не должна была стеснять покровителя молодой женщины.

Так миссис Харт стала хозяйкой дома Гревилла в Эджвер-Роу, с бесценной помощью миссис Кадоган на заднем плане.

ГЛАВА 4 ПОКОЙ И ЛЁГКИЕ ШКВАЛЫ

Если оставить в стороне изначальную непристойность их союза, трудно было представить жизнь более скромную и благопристойную, чем в Эджвер-Роу. Прошлое отпало от неё, словно кошмар, который рассеивает дневной свет; молодая жена, уютно устроившаяся под защитой мужа, едва ли могла быть более домашней, чем Эмма. Правда, из Хавардена приходили известия о маленькой Эмме, а небольшие счета за её содержание напоминали о её существовании, но Гревилл оплачивал их без замечаний. И кто, думала мать девочки, мог счесть преступным существование этого прелестного невинного создания, с какой стороны ни посмотри! Гревилл, однако, смотрел на это иначе. Всякое упоминание ребёнка он был склонен считать нарушением хорошего вкуса и пресекать.

Да и помимо этого у неё было достаточно забот. Счета вела Эмма: добрая миссис Кадоган гораздо лучше справлялась с карри и супами, чем с письмом и арифметикой. Возможно, записи составлялись не по самым строгим правилам, но своё назначение выполняли и каждый понедельник исправно представлялись хозяину. Вот запись расходов за 29 октября 1784 года:

Расход

Сумма

Булочнику за неделю
4 шиллинга 11 пенсов

За масло за неделю
5 шиллингов 1 пенни

Мяснику
7 шиллингов 8½ пенсов

Перчатки
1 шиллинг 6 пенсов

Экипаж
1 шиллинг

Бедняку
½ пенни

Яблоки
2½ пенса

Из этого перечня нельзя заключить, что они предавались греховной роскоши: лишь здоровый аппетит к хлебу с маслом да соблюдение обещания Гревиллу ограничивать себя в прекраснейшей из добродетелей — благотворительности. Что до перчаток, то даже с поправкой на стоимость денег сто сорок лет назад они едва ли удовлетворили бы безупречную миссис Уэллс или кого-нибудь из её сестёр по положению. Приходится признать некоторую несоразмерность счёта модистки: «Миссис Хэквуд — 4 фунта 12 шиллингов 6 пенсов» прямо-таки смотрит нам в лицо. Но пусть любители осуждать вспомнят, что стоял конец октября, приближалась зима и бархат был уместнее соломы; пусть спросят себя, во сколько, по их мнению, обходятся счаст-

ливым обладательницам шляпы, украшающие прекрасные головы в наши дни. Нет, жаловаться на расточительность у Гревилла не было причин. Говорят, расходы по хозяйству составляли всего около ста фунтов в год, а Эмма получала на все свои наряды лишь тридцать.

Он, безусловно, имел основания благодарить и кухарку, и хозяйку дома. Это позволило ему заняться образованием Эммы серьезнее, чем он предполагал сначала; по мере её успехов рос и его интерес. А любовь? Об этом придётся судить по последствиям.

— Нам пора ехать на Кавендиш-сквер, Эмма, наёмная карета ждёт, — говорит Гревилл одним ясным майским утром, бодрый и чисто выбритый. — Сегодня Ромни будет писать с вас Цирцею. Возьмите белое одеяние, которое он просил.

Из-за двери выглядывает прекрасная растрёпанная головка; в глазах — испуг.

— Как, вы ещё не готовы? Это крайне невнимательно с вашей стороны, особенно когда вы знаете, что кучер берёт плату за время. Терпеть не могу непунктуальности.

— Но я расставляла цветы, Гревилл. Вы сказали, что любите вазу на обеденном столе. Не думаете же вы, что я могу быть в двух местах сразу.

Слово «ваза» она теперь произносит правильно, но её повелителя это не смягчает.

— Сейчас же оставьте цветы. Сколько времени вам нужно, чтобы уложить волосы и привести себя в приличный вид?

— Двадцать минут. Быстрее я не могу. И даже не стану пытаться.

— Двадцать минут! Неужели вы полагаете, что ничьё время, кроме вашего, ничего не стоит?

Головка исчезает; на лестнице слышатся шаги, а затем ясный, дерзкий голос запекает:

Пусть он бранит — признаю власть его

И соловьём спою я для него.

Теперь это уже не простая песенка: трели и переливы чистейшего сопрано, какое только можно вообразить, — искусство, украшающее природу. И каждой трелью, каждой руладой, с негодованием думает он, она обязана Чарльзу Гревиллу, и ему одному. Словно пригоршню прозрачной родниковой воды плеснули в его благородное лицо.

Гревилл никогда не действовал поспешно. Он написал несколько слов, сложил и запечатал записку, вышел к кучеру, велел отвезти её мистеру Ромни на Кавендиш-сквер, расплатился и отпустил его. Карета медленно укатила, а Гревилл сел читать журнал. Посмотрел на часы. Минуту двадцать минут, двадцать пять. Наверху слышались торопливые шаги, открывались и закрывались ящики, щёлкала хорошо знакомая ему дверца гардероба; тяжёлая миссис Кадоган с топотом поднималась по лестнице на помощь. Он перевернул ещё страницу и сделал несколько заметок. Полчаса.

Наконец стремительный бег вниз; белая фигура в соломенной шляпе с лентами, сам Май в своём цветении и красках, порывисто влетает в комнату.

— О, это никогда больше не повторится, Гревилл. Никогда, клянусь!

— Несомненно, никогда! — отвечает он, вкладывая закладку и откладывая журнал.

— Господи! Куда девалась карета? — восклицает Эмма, подбегая к окну.

— Карета подъезжает к Кавендиш-сквер с уведомлением Ромни, что сеанс не состоится. И хотя Ромни я этого не сообщил, никаких дальнейших сеансов не будет, если я не услышу смиренных извинений и не увижу совершенно иного поведения. Что же это! Неужели его драгоценное время и моё должны пропадать из-за вашей нестерпимой дерзости? Стыдитесь, Эмма!

Она бледнеет от гнева. Ни одно лицо не отражало настроений вернее её лица. Она не могла бы скрыть их, даже если бы захотела.

— Как! Вы отослали карету из-за каких-то жалких минут? Жестокий вы человек, вот кто! А я так люблю, когда меня пишут. Я расставляла цветы, чтобы вам угодить, и вот моя награда. Знайте же: я не рабыня, хоть и несчастная девушка, которой приходится терпеть вся-

кую грубость. Вы важный господин, а я ничто, но я бы так с вами не поступила. Сегодня я вас больше видеть не желаю!

Она сорвала шляпу и накидку из тонкого полотна, швырнула их на пол. Влетела в соседнюю комнату, вырвала цветы из вазы и выбросила в сад. Затем вихрем понеслась вверх; слышно, как Цирцея хлопает дверью и поворачивает ключ.

Гревилл спокойно звонит в колокольчик, вызывая миссис Кадоган; та появляется, испуганная, и приседает в реверансе.

— Будьте добры сообщить миссис Харт, что я еду в Лондон и проведу эту ночь, а возможно, и дольше, у её светлости герцогини Аргайл. До дальнейшего извещения обед мне не понадобится.

Он собирает необходимые вещи и удаляется с ещё большей величественностью, чем обычно. Едва за ним закрывается дверь, миссис Кадоган с топотом бежит вверх и дёргает ручку двери, за которой укрылась Цирцея.

— Пусти меня, Эми. Это я, больше никого. Он ушёл — не человек, а ледяная статуя. Ох, Эми, своими вспышками да глупостями ты обрушишь дом нам на головы. Пусти, говорю! Какой мужчина, по-твоему, станет терпеть такие выходки? А ведь ему ты обязана даже хлебом, который мы едим. И маленькая Эмма тоже!

Молчание. Миссис Кадоган становится красноречивее, обращаясь к замочной скважине.

— Уехал в Лондон, к своим герцогиням и прочим таким же. Обед ему не нужен, пока сам снова не велит. И кто знает, может, он вовсе не вернётся!

— Ну и пусть не возвращается! — отвечает приглушённый трагический голос, явно из глубины подушки. — Не придётся тебе жарить рыбу к обеду. Вот и вся разница.

— Дура ты, дура! — говорит пухлая старушка за дверью и медленно отступает к лестнице, стараясь шуметь как можно больше, чтобы её позвали обратно.

Через мгновение дверь открывается. В проёме стоит Эмма, в измятом белом платье, с распустившимися волосами, упираясь руками в оба косяка.

— Куда, он сказал, едет?

— К какой-то герцогине. Не знаю к какой. Да, Гаргайл или что-то вроде.

— Тогда и я поеду. К Ромни. Дай корзину.

С пылающими щеками она принялась приглаживать волосы и разглаживать складки платья. Горькое чувство, что ею пренебрегли, презрительно отмахнулись, подстёгивало её к непокорности. Есть она не станет, ждать не станет, возьмёт наёмную карету — и прочь, на Кавендиш-сквер, к Ромни.

Представьте, как она входит в этот дом своей радости мягким, неслышным шагом. Здесь её всегда охватывало то спокойствие, какое чувствуешь, оставив позади шумные улицы и вступив в сумрачную тишину церкви, где молчаливая красота таится в драгоценных витражах и тусклом золоте, освещённая лишь неугасимыми огнями алтаря. Это был её рай, её храм: девушка из народа искренне исповедовала религию красоты. Она была и её жрицей, ибо каждым прелестным движением, дивным голосом, плавными позами утверждала её веру и нередко возносила сердца смотревших выше, чем они сами сознавали. Она не походила на женщин с тяжёлыми веками, служивших тёмным богиням в ассирийских или египетских храмах, чтобы заманивать мужские души в липкие силки преисподней. И всё же, когда мужчины любили её, она неизменно приводила их на собственный уровень, окрашивала всех, кроме Гревилла, в свой цвет. В высоте или в глубине находился этот уровень — пусть читатель судит по мере того, как разворачивается история. Во всяком случае, двое, величайшие из них, благодарили Бога за то, что знали её, что бы ни кричал горластый свет. Одним из этих двоих был Ромни.

Мастерская была просторной, наполненной светом из высокого северного окна — прозрачным и тонким, словно вода. Он сидел за столом спиной к ней, склонившись над каким-

то наброском, будто только что захотелось запечатлеть внезапную мысль. Он не услышал, как открылась дверь, но, когда её нога коснулась непокрытого пола, сказал, не оборачиваясь:

— Эмма! Входи, дитя.

И спокойно продолжал работать.

Она поставила маленькую корзину с собственноручно испечёнными лепёшками, маслом и свежими яйцами с фермы за лужайкой, подошла сзади и положила руку ему на плечо, наблюдая, как мечта обретает форму на бумаге; волосы её коснулись его уха. Она хорошо знала: как ребёнка нельзя внезапно будить ото сна, так нельзя тревожить и таких людей, как Ромни.

Он не обращал на неё внимания — настолько глубоким было их взаимопонимание, — и мирно работал, чувствуя её руку на плече.

Разумеется, он рисовал её: в то время, погружённый в её красоту и обаяние, он почти ни о чём другом не думал. Это был эскиз Цирцеи в технике размывки: пещера, скалы, едва намеченная прекрасная фигура, возникающая, словно свет, из чрева тьмы, — хаотическое начало прекрасного мира, которому ещё предстояло родиться.

Они не произносили ни слова. Большие старые часы в углу торжественно тикали, безмолвные фигуры на мольбертах продолжали свои грёзы, уличный шум смягчился до убаюкивающего гула. И хотя выразить это словами она могла бы не скорее, чем взлететь, вечный покой Искусства проникал в её сердце, превращая ссору с Гревиллом в мимолётную нелепость.

«Ты рождена для лучшего», — сказал внутренний голос, пришедший из тишины, и сама душа её согласилась.

Наконец он отодвинул бумагу и поднял на неё глаза, ещё затуманенные погружённостью в мысли. Простое, грубоватое лицо с резко обозначенными чертами и сильной челюстью; словно погасшие глаза, отяжелевшие от меланхолии, которой позднее суждено было поглотить его; и рот мечтателя — мечтателя в звуках или красках, — такой же страстно чувствительный, как её собственный. Несколько мгновений они смотрели друг на друга; затем она опустила глаза, стала перед ним на колени и положила голову ему на колено.

— Дорогой мистер Ромни, мне стыдно за себя. Правда, стыдно. Вы делаете меня такой, какой я должна быть: одной красотой и чудом, едва касающейся земли. А я так далека от этого. Только сегодня утром я потратила ваше драгоценное время и не приехала из-за жалкой ссоры с Гревиллом. Вы написали меня Сереной, а во мне одна сумятица и глупость. Я не стою вашего внимания.

— А который час? — спросил он, нащупывая большие часы с репетиром.

Его выговор был под стать её выговору: Ромни тоже вышел из народа.

— Я и не знал, дитя, время ушло. На два часа позднее! Ну что ж, ну что ж, всё равно не пропало. Уже вырисовывается, вырисовывается. Постой-ка минуту здесь, передо мной, и подними левую руку — вот так! Останавливаешь, повелеваешь. Ты волшебница, снимающая чары, которые превратили мужчин в зверей. Другая рука опущена. Возьми мой муштабель вместо жезла, направь вниз: волшебная сила его иссякла.

Он смотрел, как она медленно и плавно принимала нужную позу. Инстинктивно перенесла вес на переднюю часть левой ступни; в этом положении удивительно сочетались сила и лёгкость, поднятая рука останавливала теснившихся зверей.

— Прекрасное создание! — тихо сказал он с нежным благоговением.

Потом продолжил, размышляя вслух:

— Нет, но лицо! Не то. Немного опусти подбородок; взгляд прямой и властный, но... нет, я расскажу тебе историю. Женщина, живущая в богине, выдаёт её, потому что возлюбленный уходит. Она испугана: рядом с ним собственное могущество для неё ничего не значит. Он победил её, хотя она богиня. Небесное подчиняется земному, но величаво. Сумеешь?

— Знаю! — воскликнула она. — Знаю!

И мгновенно застыла, словно мраморная, а черты обрели спокойствие. Не печаль — торжественное благоговение, благородный стыд, глубокое бессмертное сожаление, затемнившее глаза и сомкнувшее губы в вечном молчании. Так стояло божество у вод забвения, к которым вовек не могло склониться, чтобы испить.

Он смотрел, восхищённый, опустив бездействующие руки на стол, страстно впитывая её образ. Ни одна ресница не дрогнула, пока он долгим вздохом не освободил её от неподвижности; затем словно всплыл обратно к поверхности обыденного.

— Никогда не было никого, подобного тебе, и никогда не будет! — медленно произнёс он. — Ты знаешь, чувствуешь без объяснений. Ты становишься тем, что изображаешь. Кто рассказал такой девушке, как ты, какой бывает богиня, когда сходит на землю и узнаёт, что её предали?

Она улыбнулась и покачала головой. Для неё самой это оставалось тайной; но она знала, что её натура отзывчива, словно струны эоловой арфы на дыхание ветра: ни одно колебание, исходившее от человека или вещи, не проходило над нею, не пробудив родственного отзвука в сердце.

— Часто думаю, из тебя вышла бы великая актриса, — сказал он в своей неторопливой манере.

Она тем временем убрала со стола бумаги, аккуратно разложив на полу так, чтобы потом вернуть в точно прежнем порядке. Подошла к угловому шкафчику, где он хранил хлеб, поставила чайник на потёртую маленькую печку; пока вода грелась, пристроила рядом кастрюльку, достала яйца, масло и лепёшки. С ловкой хозяйственной заботливостью расставила на столе его немногочисленные чашки и ложки, приготовила скромную трапезу на двоих. Затем появились заварочный чайник и горячие яйца; она усадила его, села рядом и была готова к разговору.

Он смотрел на неё, зачарованный. Такие трапезы в мастерской случались нередко и всегда радовали его. Позднее ему предстояло вспоминать их с болью, которую ничто не могло исцелить, когда она увезёт свою красоту и доброту в чужую далёкую страну. Там её будут обожать многие, но ни для кого она не станет той звездой надежды, той золотой Зарёй, какой стала для него.

Но сегодня было сегодня, будущее оставалось скрытым, и он улыбнулся, когда она придвинула треснувший стул, слишком ненадёжный для его веса, и примостилась на краешке.

— Каждому по два яйца! А лепёшки, мистер Ромни, — чудесные! Мы с матерью получили рецепт от одной старой шотландки из Эдинбурга. Так и тают во рту, хрустящие, как жареные оладьи. А потом я зашью дыру у вас на рукаве, если снимете сюртук. И расскажу о своих бедах.

Как успокаивало солнечное тепло её присутствия! Сначала он ел машинально, затем с большим удовольствием. Маленькую кастрюльку снова поставили на огонь, теперь уже для яичницы-болтуни с каплей соуса, которым он приправлял свою ежедневную баранью отбивную, когда не хватало времени сходить в трактир.

— Пища богов! — назвал он её.

Тарелку оставил такой чистой, что Эмма объявила: можно почти не трудиться её мыть. Потом стащила с него сюртук и принялась за иголку.

— Всё, что ты делаешь, становится картиной! — сказал он, не в силах насытиться зрелищем. — Вот сейчас — как ты сидишь, как свет падает на локоны над ухом... Ах, ну что ж! Беды, дитя, твои беды. В чём они?

— В моём нраве, как всегда, — ответила она, усердно работая иглой. — Мистер Ромни, я едва смею взглянуть вам в лицо: боюсь, вы станете презирать глупую девушку, которая умеет владеть собой не лучше ребёнка. Я исправляюсь — Бог знает, как стараюсь, — но всё равно не удержусь, когда Гревилл или кто-нибудь другой меня рассердит. Даже зная, что собственными руками разрушаю своё убежище. И всё из-за пустяков, не стоящих медного фарфинга! Сегодня

я опоздала, он меня попрекнул — любой мужчина попрекнул бы, — а я непременно должна была ответить. И вот он уехал к своим знатым друзьям.

Он увидел, как слеза упала на латунную пуговицу сюртука, но ничего не сказал. Дал ей излить сердце.

— Я часто боюсь, что это не продлится вечно.

Голос её теперь дрожал.

— Ведь уже три года, а для мужского сердца это долгий срок, хоть для женского — всего один день. Когда всё начиналось, он сказал, что никогда не встречал женщины достаточно искусной, чтобы удержать мужчину, которому она надоела. Мистер Ромни, я ему надоела?

Сюртук опустился на колени. Два полных слёз глаза ожидали его суждения, словно приговора небес; две дрожащие руки протянулись, готовые принять этот приговор.

— Дитя, как я могу знать? — нежно ответил наставник. — Мне кажется, твоя бесконечная переменчивость заставляет смеяться над самим словом «надоест». Но я, право, не знаю этих светских мужчин, которые так любят себя, что для женского лица в их сердце остаётся слишком мало места. Однако не стоит сердить его без причины. Гревилл любит покой. Даже мои подслеповатые глаза это различают. Но что он способен выбросить такую драгоценность — не поверю, пока не увижу.

Она безутешно покачала головой.

— Я самая неблагодарная девушка на земле. Знаю. Ведь он отправил меня к морю, когда я была больна, а сам поехал в новые имения дяди в Милфорде. И позволил взять с собой маленькую Эмму, и ни слова недовольства из-за моих счетов, что было и впрямь удивительно, хотя, видит Бог, я сэкономила как только могла! А всё равно не всегда могу удержать свой несчастный язык, хоть люблю его всем сердцем, всей душой и буду любить вечно.

— А я-то думал, ты стараешься походить на Серену из поэмы! — сказал Ромни с тенью улыбки. — Что-то не верится, что тебе когда-нибудь удастся с ней сравняться; да я, признаться, не вполне этого желаю. Но Гревилл любит покой и хочет, чтобы ученица делала ему честь. Учить и читать наставления — его главная страсть; каждый раз, когда ты выходишь из повиновения, ты в его глазах ставишь под сомнение его собственный метод. Тут больше половины всей беды.

— Знаю, знаю! Ведь угодить Богу и Гревиллу — моя единственная цель. О, мистер Ромни, если бы можно было хоть немного заглянуть вперёд, узнать, что нас ждёт! Однажды он прогонит свою бедную Эмму, и тогда...

— Тогда она узнает, что есть человек, который мажет красками холст и скорее сам станет голодать, чем допустит, чтобы она нуждалась! Но я лучше думаю о способности Гревилла ценить прекрасное. Сядешь сейчас здесь и напишешь ему милое письмо. Я отправлю его в большой дом, где он остановился, и завтра он вернётся. Только больше его не сердь. Ведь это всё равно что вонзать нож в собственную грудь.

Она сказала, что он прав, и снова принялась шить. Он смотрел на неё, и всё его сердце было в этом взгляде: его божественная леди, его дитя, его муза — всё в одном существе, и ещё больше, чему он никогда не смог бы найти слов. Если Лаура до скончания времён владеет Петраркой, а Беатриче — Данте, то столь же несомненно Эмма владеет человеком, который не даёт ей умереть; человеком, который могучим волшебством ловил и закреплял на холсте одно за другим призрачные видения её красоты, чтобы мир навечно остался её возлюбленным.

Когда он снова надел сюртук, а она, склонив голову набок, серьёзно оценила результат, Эмма взяла его перо и бумагу и села писать. Теперь она писала свободно; хотя правописание по-прежнему было плачевным, почерк оказался не хуже, чем у многих знатных дам.

В этот день она была глубоко взволнована; впрочем, картина собственных горестей всегда глубоко её трогала. Пока она писала, глаза так наполнились слезами, что буквы расплывались перед ними.

«О, дорогой мой Гревилл, не думайте о моих прежних глупостях, подумайте о хорошем во мне, как бы мало его ни было. О, Гревилл, когда я думаю о вашей доброте, вашей нежной заботе, сердце так полно благодарности, что мне недостаёт слов. Но я вижу перед собой один путь к счастью и твёрдо решила следовать ему: это ровность нрава. Право, я столько думала о вашей милой доброте, когда ваше терпение испытывалось до предела, что буду, действительно буду владеть собой и стараться стать похожей на Гревилла. Ничто не сравнится с опытом, за который заплатил. О, Гревилл, думайте обо мне с добротой. Подумайте, сколько счастливых дней, недель и лет — я надеюсь — мы ещё можем провести вместе. И право, знай вы, как я вас люблю, вы охотно простили бы мне все прежние ссоры. С тех пор я только о вас и думаю. О, Гревилл, если бы вы знали, какие мысли приходят ко мне, какие нежные мысли, вы сказали бы: “Боже мой, неужели Эмма способна так тонко чувствовать? Нет, никогда бы не поверил. Но теперь могу надеяться образумить её, и из неё, возможно, выйдет достойная и милая женщина!” Это правда, Гревилл, и вы не будете разочарованы. Я стану всем, чего вы только можете пожелать».

К этому времени собственное красноречие так растрогало её, что продолжать она уже не могла. Пришлось попросить у Ромни платок и вытереть льющиеся слёзы, прежде чем подписать и сложить письмо.

— Всё правда, каждое слово. Я больше никогда не надеюсь быть счастливой, но, о, мистер Ромни, если бы вы знали, какой доброй я чувствую себя сейчас! — сказала она, когда письмо было отправлено. — Никогда, никогда больше не позволю себе таких вспышек. Мне помогает благословенная тишина этого дорогого места и ваше дружеское присутствие. Теперь пора идти. Пожелайте, чтобы меня простили: без его любви жизнь для меня — смерть, и я не захотела бы сделать ни одного нового вздоха.

Она говорила это с полной искренностью, и её милое лицо напоминало «Невесту в трауре» Конгрива. Но по счастливой случайности, когда Ромни проводил её к двери, чтобы позвать карету, по площади проходил кукольный театр Панча и Джуди. Она непременно должна была задержаться и посмотреть на проделки кукол; совсем скоро уже плакала от смеха так же самозабвенно, как наверху плакала от горя.

Небольшая толпа смеялась вместе с ней. Эмма задавала тон с такой безудержностью, что Гревилл, увидев её, пришёл бы в ярость; позади смеялся Ромни, счастливый, что она повеселела. Этим двоим детям народа было легко друг с другом и среди народа. Никогда ещё Панч не собирал более весёлой публики.

Когда она наконец повернулась, чтобы уйти, Ромни на минуту окликнул её.

— Сегодня утром здесь был Гэвин Гамильтон. Говорит, слышал, что сэр Уильям возвращается из Неаполя, чтобы заняться имениями, оставленными ему женой. Можешь сказать Гревиллу, если он ещё не знает.

Она беззаботно согласилась, не подозревая, что Судьба снова идёт за нею по пятам, скрыв насмешливую улыбку под видом пустяка. Наконец отправилась в Эджвер-Роу — весёлая, как жаворонок, уверенная в прощении. В таком счастливом мире всё непременно должно быть хорошо; а Гревилл обрадуется известию о приезде дяди. Тот не был строгим, придирчивым родственником, а понимающим другом, и глаз на красоту имел такой же острый, как сам Гревилл. Она уже предвкушала появление пожилого поклонника, который будет держаться с нею непринуждённо.

Ромни остался один — думать о её ангельской доброте и милых повадках, поправлять и вновь поправлять эскиз, пока хватало света. Потом отправился в свой одинокий трактир.

Когда Эмма вернулась, Гревилл по-прежнему сурово отсутствовал. Но добрая, утешительница-мать приготовила к ужину небольшой аппетитный кусок жареного ягнёнка, а после — пирожки с вареньем. И если вечер не был совершенным блаженством, то всё же оказался вполне сносным; пирожки же были превосходны для аппетита здоровых двадцати лет.

ГЛАВА 5 ТРЕЩИНА

Письмо застало Гревилла в величественном доме её светлости герцогини Аргайл. Его вручили ему, когда он сидел с двумя дамами, столь прекрасными каждая в своём возрасте, что Парис скорее съел бы своё яблоко, пусть даже золотое, чем рискнул ошибиться, присудив его одной из них.

И чтобы читатель не подумал, будто сочинитель романа облачает всех своих дам в радужное сияние, напомним: старшей была знаменитая Элизабет Ганнинг — «двойная герцогиня», как её называли. Из крайней бедности она поднялась благодаря победоносному натиску своей красоты на укрепления света и стала сначала герцогиней Гамильтон, затем герцогиней Аргайл. Младшей была миссис Кру, самая модная из всех красавиц. О ней говорили — в свете, ещё не знавшем Эммы! — что лишь она одна равняется совершенством с Элизабет Ганнинг времён её стремительного завоевания Лондона или даже превосходит её. Нежная красавица с томными глазами, ласковым убеждением в каждом взгляде и капелькой тонкой злости, приправлявшей мёд имбирём.

Дамы одевались к придворному приёму и блистали атласом и драгоценностями. Гревилл, чувствовавший себя в этом доме совершенно своим, как раз укладывал бриллиантовую цепь вокруг плеч миссис Кру более выгодными изгибами, когда появилось письмо. Герцогиня хвалила его изысканный вкус.

— Не знаю мужчины, который мог бы сравниться с вами вкусом, Гревилл, — сказала милостивая её светлость. — Все Гамильтоны таковы. Откуда у вас берутся эти замыслы? Неудивительно, что вы так взыскательны.

Он аккуратно убрал письмо в карман, испытав приступ гнева при мысли, что она осмелилась преследовать его здесь, и отступил, чтобы оценить свою работу.

— На миссис Кру это расположение выглядит ещё лучше прежнего. Что до моего вкуса, он воспитан на античности, и ничего оригинального я не сделал. Так римская императрица Фаустина располагала свои драгоценности, чтобы привлекать взгляды возлюбленных-гладиаторов, когда ей надоедал супруг-философ! Ах, сударыня, разве женщины не одинаковы во все времена?

— Они приспособляются к мужчинам, которые, насколько я вижу, тоже не меняются. И если император был так же скучен, как наши нынешние философы, я оправдываю её величество.

Так отозвалась герцогиня.

— Можно быть скучным и без философии, которая служила бы тому оправданием, — заметила миссис Кру перед зеркалом, любуясь своей длинной лебединой шеей в блеске бриллиантов. — Подумайте только о герцоге Девонширском. От одного взгляда на него у меня несварение. Это семейное. А мистер Гревилл наполовину Гамильтон — вот почему его общество столь поучительно.

Она бросила на него из-под длинных ресниц маленький иронический взгляд. Дама прекрасно знала: перед ней человек, способный «глядеть в глаза Аморет, не теряя рассудка», — глаза, решавшие судьбу не только поклонников, но и не одних оспариваемых выборов. Стоило ей улыбнуться счастливым избирателям, и они были завоёваны. Гревилл ненавидел женщин, вмешивавшихся в политику, и она это знала. Отсюда лёгкая царапина — удар бархатной лапкой.

И всё же он почувствовал неловкость: миссис Кру была термометром светского расположения, и её улыбка точно соответствовала его температуре. Неужели большой свет начинал находить его несколько утомительным, несколько отставшим от времени? Он с самого начала родился старше всех остальных; увлекался окаменелостями, когда другие играли, танцевали

и пили, и ему не всегда удавалось скрыть, что их развлечения ему наскучили. К тому же за последние три года он позволил себе удалиться в тень со своей прелестной ученицей несколько больше, чем одобрял его рассудок.

Порой она доставляла хлопоты; зато удивительные успехи в изяществе манер и искусствах, которыми она была обязана ему и нанятым им учителям, ежедневно занимали и развлекали его. А маленький дом в Эджвер-Роу был воплощённым уютом. Блюдо, выбранное им самим и приготовленное в точном соответствии с его вкусом, лучше отвечало его склонностям и здоровью, чем роскошные пиршества в знатных домах. Общество Эммы, не требовавшее ни церемонной учтивости, ни ухаживаний, позволяло ему держаться непринуждённо — что было невозможно со светскими дамами, принимавшими его, быть может, чуть холоднее прежнего.

Но что, если он выпадал из их круга? Быть забытым гораздо труднее, чем забывать, а мистера Гревилла должны были встречать восторженно всюду, где он удостаивал общество своим появлением. Не упускал ли он свою пору? Он поморщился. Она того не стоила. Нет! Если он убедится в этом, ни дня, ни часа не позволит ей стоять на его пути. И как бы она ни экономила, его страсть к античности всё равно влекла за собой расходы, которых уже нельзя было покрыть. Этот вопрос тоже становился неотложным.

Следовало обуздать свою склонность вещать с непререкаемым авторитетом. Сэр Уильям однажды полусхитрым предостерег его от этого — сэр Уильям, который был на двадцать лет моложе, что бы ни утверждала безжалостная приходская книга.

От одного страха перед неодобрением он сменил учёную невозмутимость улыбками и выразил миссис Кру немного поклонения — однако не настолько, чтобы герцогине пришлось вспомнить о собственном возрасте. Они обсуждали гостей предстоящего придворного приёма, и миссис Кру пустила ещё одну стрелу с мягким оперением.

— Мисс Миддлтон будет там, — сказала она. — Сегодня днём я встретила леди Миддлтон — женщину, которую с трудом перевариваю. Она задержала меня на целых десять минут, рассказывая о последнем сердце, которое мисс Миддлтон подвесила к поясу рядом с прочими скальпами. «Самая желательная перспектива, дорогая моя, — передразнила она гордую мать. — Богатство, преданность — всё, кроме происхождения. Отец — Уэйд, преуспевающий ирландский купец». Господи, сказала я, кому теперь нужно происхождение? Если ради денег не стоит немного побродить по грязи, то ради чего стоит?

Гревилл засмеялся, скрывая неловкость. Он прекрасно понимал, к чему всё клонится. Он, взыскательный и снисходительный, отличал мисс Миддлтон своими ленивыми знаками внимания. Из всех наследниц, которых он обозрел за последние три года, она представлялась самой желательной, а брак с нею — наименее неприятным выходом. Так называемые друзья его круга отлично это знали и ждали результата. Хотя, как они признавались, было бы куда забавнее увидеть, как золотая чаша ускользает от его губ, а взыскательный господин остаётся ни с чем, если удача повернётся именно так.

— Завтра я у них обедаю и услышу новости, — непринуждённо сказал он. — Боже, как прекрасно вы подражаете леди Миддлтон, сударыня! Больше у неё не было для вас известий?

— Таких, которые заинтересовали бы вас, сэр, — нет. Хотя, да, теперь припоминаю! Я забыла, но вы, несомненно, знаете. Она встретила Гэвина Гамильтона, неожиданно вернувшегося из Италии, и он сообщил, что сэр Уильям скоро приедет. После смерти жены два года назад у него здесь остались дела, требующие внимания. Но вы, конечно, знаете.

— Узнаю с ближайшей почтой, сударыня, пока же нет. Очень возможно, что у Гэвина есть письмо для меня.

— Будет приятно снова увидеть сэра Уильяма, — сказала герцогиня. — Из всей моей родни Гамильтонов я всегда любила его больше всего. И при дворе его хорошо примут. Король никогда не забывает своего молочного брата.

Она имела в виду то обстоятельство, что мать сэра Уильяма, леди Арчибальд Гамильтон, была признанной фавориткой Фредерика, принца Уэльского, отца Георга III, — обстоятельство, весьма способствовавшее успехам сэра Уильяма в жизни.

— Не знаю человека с более приятными манерами, — добавила она. — В обществе у него всё обаяние молодого мужчины, и при этом учёные чувствуют себя с ним как дома. От всей души надеюсь, что в Англии его ждёт очаровательная жена. В этой большой вилле в Неаполе ему нужна супруга посла, и я не знаю мужчины, который стал бы более приятным мужем для разумной женщины. Он не может рассчитывать найти такую святую, как ваша покойная тётушка, Гревилл, но немногие женщины отказали бы человеку его нрава. Право, одна у меня уже на примете...

Гревилл, весь дрожа от беспокойства, попросил назвать имя, но она со смехом покачала головой.

— Нет, нет. Такие вещи портятся, если о них говорить. Однако я сведу их вместе со всем искусством, на какое способна.

— Что её светлость постановит, то и свершится! — галантно поклонился мистер Гревилл. — Мой дядя будет бесконечно признателен.

Он дождался, пока дамы милостиво его отпустят, затем направился в клуб, настолько погружённый в мысли, что письмо Эммы лежало в кармане совершенно забытое.

Сэр Уильям возвращается! Лично он, конечно, будет рад, но эта мысль заключала в себе немало неприятных возможностей. Он сел в тихом углу, как можно дальше от знакомых, и принялся распределять мысли в свойственной ему методической манере.

Леди Гамильтон, его тётушка, умерла два года назад, и в известном смысле с тех пор Гревилл ни минуты не знал полного спокойствия. Святая, как столь легко выразилась герцогиня, она имела немало поводов жаловаться на развлечения своего весёлого супруга, но никогда не жаловалась и переносила всё с неизменной кротостью. Однако он был не из тех, кого святость побуждает к подражанию; в глубине души он отчасти винил её набожность в том, что вынужден искать развлечений на стороне.

В Неаполе их было найти ещё легче, чем где-либо, особенно в тогдашнем политическом затишье, когда даже посол Великобритании не всегда знал, чем заполнить ленивые, восхитительные дни сладостного ничегонеделания. Но помощников хватало: очаровательное английское общество с художественными вкусами; странствующие сирены — вроде леди Крейвен, одновременно восхищавшей и смешившей Хораса Уолпола, — слишком многочисленные и ничтожные, чтобы их перечислять. Более того, поговаривали, будто сама королева Мария-Каролина, сестра несчастной французской королевы Марии-Антуанетты, находила сэра Уильяма приятнее, чем обычно находят послов государи, при которых те состоят.

Гревилла такое положение вещей вполне устраивало. Он был привязан к дяде и искренне желал ему развлечений. Пока сэр Уильям оставался женат, собственное положение Гревилла было надёжным: брак был бездетен, а леди Гамильтон так глубоко к нему привязана, что вместе с расположением самого сэра Уильяма это обеспечивало полную уверенность — всё, что супруги оставят после себя, унаследует он. Сэр Уильям открыто говорил об этом и разрешал Гревиллу сообщать о наследстве как о решённом деле любому осмотрительному отцу, чьей дочери-наследнице он пожелает предложить руку. И тут леди Гамильтон умерла.

Для Гревилла это стало неприятным потрясением, и не в одном отношении. Сэр Уильям, которому было немногим за пятьдесят, красивый, чрезвычайно обаятельный, гостеприимный, щедрый, снова оказался на брачном рынке. Но незачем распространяться: положение говорит само за себя. А теперь он возвращался в Лондон, готовый предложить высокое звание супруги посла, прекраснейшую страну на земле в качестве дома и слух о любви королевы, ещё усиливший его притягательность.

Да какой молодой лондонец мог бы соперничать с ним и его придворным влиянием? Он женится — и всё пропало: на следующий год появится маленький наследник, потом ещё другие. А он, Гревилл, превратится в молодого старичка, забытого светского человека, слишком бедного, чтобы поспевать за большой скачкой моды, если только...

Если только? Два условия: богатый брак для него самого и благопристойное или неблагоприятное вдовство для сэра Уильяма. Он достаточно хорошо знал свет, чтобы понимать: его шансы на первое немедленно уменьшатся, как только станет известно о намерении дяди жениться.

Где же выход из затруднения? Мисс Миддлтон? Этот вопрос следующим прошёл перед его мысленным взором. Он знал, что его ухаживания принимались не слишком тепло. И хотя было невозможно, чтобы слухи об устройстве его дома в Эджвер-Роу могли смутить лорда Миддлтона, женщины смотрят на вещи причудливо, и шёпот, достигший ушей леди или мисс Миддлтон, мог причинить немалый вред.

Он всё сильнее чувствовал, что Эмма стала помехой, что он слишком долго плыл по течению и, если желает богатого брака, должен вернуться в красивый лондонский дом, перестать хоронить себя и свои преимущества в безвестности. Словом, полностью изменить жизнь. К этому следовало прибавить, что свои обещания Эмме он, по его мнению, выполнил с избытком. И хотя во многих отношениях она стала прелестной домашней спутницей, нрав её по-прежнему доставлял хлопоты; под всем приобретённым лоском её вкусы порой неожиданно обнаруживали грубую основу. Наконец, последнее, но далеко не самое маловажное: даже такая красота может наскучить, и он начинал немного от неё уставать.

Разумеется, с Эммой возникнут затруднения, и серьёзные; но здесь он отнюдь не отчаивался. Собственный спокойный здравый смысл и советы сэра Уильяма помогут справиться и удобно устроить её судьбу. С нею поступят вполне справедливо — не доходя, конечно, до безрассудства, которое повредило бы его собственной карьере.

Это дело он мог свободно обсудить с сэром Уильямом, и сомневаться в совете дяди не приходилось. Трудность заключалась лишь в средствах, но их можно найти, если двое опытных мужчин соединят свои усилия.

Покончив с этими мыслями, он достал её письмо и внимательно прочёл. Оно его не тронуло. Вспышки раскаяния казались ему столь же лёгкими, как вспышки гнева. Всё дело было в том — и он часто её за это упрекал, — что у неё слишком много воображения. Для Гревилла воображение было последней степенью глупости, почти последней степенью преступления. Оно означало неприятную способность видеть вещи не такими, каковы они есть, преувеличивать каждое чувство, сходить с прямой дороги фактов ради бесконечных, запутанных воздушных странствий, которые заканчиваются в стране облаков, влекут за собой болезненные падения на землю и безнадёжно калечат все жизненные отношения. Обладая Эмма хоть немного терпеливым здравым смыслом, она была бы неотразима. Увы, нет! Тогда она не была бы Эммой.

Он разорвал письмо на мелкие клочки, выбросил в корзину и вступил в непринуждённый разговор со знакомым. Домой он не поедет. Ей нужен урок, и она его получит.

В действительности он целую неделю не возвращался и не писал, и Эмма не на шутку испугалась. Предлог был достаточно прост: письмо сэра Уильяма, сообщавшего о возвращении и просившего Гревилла заняться кое-какими делами, связанными с его валлийскими имениями. Всё это с таким же успехом можно было сделать из Эджвер-Роу, если бы не необходимость преподать основательный урок. Но Гревилл всегда неуклонно следовал избранному пути. Кроме того, предстоял обед у Миддлтонов.

Когда он вернулся, она пребывала в состоянии полной покорности, бледная от непрестанного ожидания. Если бы не поддержка Ромни и не добытая им уверенность, что Гревилл

всё ещё в городе, она, пожалуй, бросилась бы по улицам искать его где угодно и как угодно. Ромни пришлось употребить всё своё красноречие, чтобы убедить её спокойно ждать.

По его просьбе она опустилась в кресло, бледная, с глубоким, страдальческим вздохом. В эту минуту она была Покинутой Дамой в Унынии — с поникшей головой и бессильно опущенными руками.

— Ах, мистер Ромни, вот награда за самую нежную и страстную любовь. Вы знаете, как я отдала ему всё сердце, всю жизнь; и ни одна женщина не поступала так, чтобы не получить в награду жестокость.

— Я думал, — неловко сказал Ромни, — что ты многим обязана его доброте. Не могла бы ты, дорогая, думать об этом, а не о гневе, который, как ты сама признала на днях, был заслужен и, я уверен, скоро пройдёт?

— Доброте! — воскликнула она; кровь внезапно вернувшейся энергии залила губы и щёки. — Доброте? Так считал бы торгаш. Еда, одежда, уроки — уроки, чтобы я могла петь и рисовать ему на потеху. Вот его доброта! А я дала ему взамен красоту, которую никто не считает презренной, любовь и нежную преданность верного сердца. Когда у него стесняло грудь, разве не я ставила припарки и почти неделю ночей не спала, пока не стала похожа на тридцатилетнюю старуху? Разве не я собственными руками варила бульоны, не позволяя матери к ним прикоснуться? Разве не я бегала по его поручениям, приносила, уносила, подметала его комнату и...

Она вскинула руки вдохновенным жестом и, продолжая изливать обвинения, превратилась в обличающую богиню. Ромни смотрел на неё, совершенно не воспринимая слов: он видел лишь облик Юноны, оскорблённое величие благородной позы. Какое значение имело, что она говорит, пока она могла выглядеть так? Он схватил уголь и бумагу и быстрыми линиями принялся увековечивать её положение.

Разъярённая, она бросилась на беспомощного человека, выхватила лист и разорвала пополам, глядя на него пылающими глазами, — прекрасная Фурия.

— И вы тоже! — воскликнула она. — Где ваше сочувствие? Я сотни раз позировала вам, а вы никогда не спросили, устала ли я, ни единого раза. Мужчины все одинаковы: женщина для них не плоть и кровь, способная чувствовать и страдать, а только развлечение или рабыня; или собака, которую гонят от двери. О, жестокий, ненавистный мир! Когда-нибудь я вонжу нож себе в сердце и всему положу конец.

Тут рыдание вернуло её к первой позе: произносить речи она больше не могла. Она снова опустилась в кресло, а Ромни, весь дрожа от сочувствия и страха, протянул тонкую жилистую руку и мягко, но крепко сжал её руку. Он тянулся к ней всем сердцем, утешал с неловкой нежностью и велел не падать духом. Хотя Гревилл никогда, никогда не сможет любить её так, как он любит своё дитя, своё вдохновение, ни один мужчина, вкусивший её красоты, не взглянет на другую. Она сама — залог своей безопасности.

— Но вернись, — умолял он, — и больше не сердись на него, моя возлюбленная дама. Ведь это только оборачивается против тебя самой. Что до меня, я могу любить Гревилла уже за то, что он привёл тебя ко мне и залил мою жизнь солнечным светом. Я верю: однажды он женится на тебе, если ты только научишься владеть собой. Будь же умницей и ступай домой, чтобы оказаться там, когда он придёт. Клянусь, он придёт, непременно придёт.

Так он уговаривал и ласково упрасивал её, пока не вернул к обычному состоянию, посадил в наёмную карету и проводил. И ни часом раньше, чем требовалось: Гревилл вернулся в тот же день, и если бы не всё было приготовлено к его приезду, встреча началась бы с холодности.

Но всё находилось в безупречном порядке. Она была так нежно-смирненна в своём белом платье, с мягкими покорными глазами, что ему оставалось лишь раскрыть объятия и простить её. Тем более что в комнате пахло цветами, к обеду была превосходно приготовлена телятина в

белом соусе, затем ожидался кусочек прекрасного выдержанного сыра, а напоследок, к сухому печенью, — бокал великолепного игристого бургундского от сэра Уильяма.

Миссис Кадоган потрудились над полировкой: серебро на столе — ибо мистер Гревилл не мог есть из посуды менее благородной — отливало чёрным бархатом в углублениях ложек и изгибах блюда; стекло сверкало, словно кристаллы инея, навстречу летнему солнцу за окном. Когда Эмма убрала со стола, он, смягчённый уютом, объявил:

— Я отвезу вас в Ранела на вечернее увеселение. Наденьте самое красивое платье и голубую шляпу: пусть моя девушка увидит свет, а свет увидит её.

Когда пришло время собираться, она взлетела наверх, полная огня и радости: это было редкое удовольствие и доказательство полного возвращения милости. Золотой скипетр протягивался к обмирающей Эсфири. Нельзя сказать, что она сделала себя красивой, — Бог уже сделал это раз и навсегда, — но Гревилл воскликнул при виде её очаровательного облика, когда она спустилась в тщательно подобранной шляпе, превращавшей глаза в тёмную лазурь, а щёки — в розовые гвоздики. Миссис Кадоган тоже восторженно сложила руки и, получив бокал портвейна, с улыбкой смотрела им вслед, пока они не скрылись из виду.

Однако лучше бы этого восхитительного развлечения вовсе не затевали: посмотрите, что произошло!

Ранела — сумрачный и прекрасный, кроме тех мест, где земные огни противопоставляли свои розовые и золотые драгоценности серебряному потоку лунного света. Ранела — с укромными тайными дорожками, по которым далеко не робкие красавицы могли гулять со счастливыми возлюбленными и обмениваться рискованным поцелуем, прежде чем за поворотом встретить другую пару, занятую тем же. Ранела — с весёлыми маленькими столиками в открытых ложах, освещённых так ярко, что лунное сияние здесь было побеждено, а радужный поток света заливал лучшие наряды, какие только можно было достать, блестящие глаза и смеющиеся губы лондонских дам.

Они обошли сады со всей сдержанностью давно женатой пары, наблюдающей за нескромностью менее благополучных людей. Гревилл предложил её вниманию несколько тонких замечаний о том, что сдержанность на людях свидетельствует о хорошем воспитании. Затем, заказав ложу для ужина, оставил её: ему показалось, что он увидел художника Гэвина Гамильтона. Он решил представить ему Тайную Красавицу и получить обычные поздравления со своей удачей.

Ну кто, кроме Эммы, мог поступить так! Опылённая огнями и музыкой, только что завершившейся песней примадонны этого вечера, мягкими приглушёнными звуками струнного оркестра, она уселась у самого края ложи, чтобы разглядывать проходившую толпу в её весёлом калейдоскопе красок. Облокотилась на бортик, поворачивала лицо то в одну, то в другую сторону, высматривая Гревилла и удивляясь, что его задерживает. И вполне сознавала, что многие лица обращаются к ней, что мужчины и женщины поднимают глаза на прекрасную незнакомку: одна, положение сомнительное — наверняка доступна знакомству! Во всяком случае, на это можно было надеяться.

Оркестр снова заиграл — на этот раз весёлую арию «Batti, batti», её последний урок, её последнее торжество. Боже, какое совпадение! Устоять невозможно! Всё ещё наклонясь вперёд, она запела: сначала тихо, испуганная собственной дерзостью и прислушивающимися лицами, потом громче, чище, всё чище. Дирижёр уловил яркое сопрано и взмахом палочки перевёл оркестр на сопровождение. Она мгновенно поняла его намерение и порывисто вскочила, пылая, покрасневшая.

Она, никогда прежде не певшая с оркестром! Она, чьими единственными слушателями были Гревилл, Ромни, учитель или случайный знакомый! А теперь, теперь её слушал Лондон — по крайней мере, так казалось её возбуждённому воображению. Она слышала, как собственный голос поднимается, божественно парит в восхитительной музыке. Громче, громче, чище,

чище — казалось, серебряная нота коснулась самых звёзд. Люди замерли, словно смерть остановила их, слушая нового соловья; оркестр звучал всё тише, всё тише, освобождая ей простор... И Гревилл вернулся.

На последней фразе, когда слушатели разразились громом рукоплесканий, он вернулся, не подозревая, чей голос вышивает ночь серебром. Взглянул на ложу — там стояла Эмма, пунцовая от оваций, и кланялась так, словно родилась для этого, скрестив прекрасные руки на сердце.

Бледная ярость заставила его двигаться с крайней неторопливостью. Он вошёл в ложу и знаком велел ей отойти в глубину.

— Немедленно уедем, — сказал он.

Сознавая чудовищность своего проступка, она запнулась:

— Я дурно поступила, Гревилл? Не знала. Думала, вы обрадуетесь моему успеху.

— Обрадуюсь!

Больше он не произнёс ни слова. Ужин был подан, но он даже не взглянул на него: оплатил счёт и вышел, оставив еду любому желающему. Дрожащая Эмма следовала за ним по пятам.

Позднее ему всё же пришлось снизойти с этой олимпийской высоты и объяснить, в чём она ошиблась: без помощи понять это она не могла. Запеть для неё было так же естественно, как для птицы; восхищать других — восхитительно. Как же? Разве Бог не создал прекрасные голоса и прекрасные лица для общей радости?

— И я знала, что могу спеть лучше Черителли! — прибавила она, трепеща.

— Вы поступили с обычной вашей необдуманностью, с обычным отсутствием вкуса и воспитания.

Его слова падали на горячую щёку крупинками ледяного дождя.

— Это убеждает меня в том, что я давно подозревал: между нами нет и никогда не может быть общности чувств. Я воспитываю вас уже почти четыре года, и всё же, стоит мне оставить вас, вы способны выставить себя напоказ в месте, где любая женщина, сохранившая хоть крупицу приличия, должна быть осмотрительна. А вы привлекаете к себе все взгляды, превращаете себя в зрелище для каждого грубого мужчины или дурной женщины, которым захочется посмотреть и послушать. Если ваше собственное чувство приличия не показывает вам всей ужасности подобного поступка, я могу говорить вечно и напрасно. Поэтому больше не скажу ничего. Я потерял надежду на вас.

Позднее, когда она, совершенно подавленная, стала умолять о прощении, он даровал его опасным образом.

— Я прощаю вас, потому что ваша натура настолько груба, что вы никогда ничему не научитесь. Я только трачу дыхание. В известном смысле это не ваша вина. Да, я вас прощаю. Но сказать, что могу забыть, — невозможно. Подобные вещи формируют моё мнение о вашем характере, в котором я, признаюсь, ошибался с самого начала.

Она не посмела больше ничего сказать, и происшествие погрузилось в молчание. Но не будет преувеличением сказать, что с этого часа судьба Эммы была решена, хотя её господин и повелитель не собирался спешить с объявлением своего решения. И она, как и он, совершенно не подозревала, что сэр Уильям Гамильтон, чей приезд теперь приближался, станет истинным вершителем этой судьбы.

ГЛАВА 6 ПРЕКРАСНАЯ ХОЗЯЙКА ЧАЙНОГО СТОЛА

В следующие несколько дней Эмма имела все основания понять, как глубоко оскорбила Гревилла. Он принял ту манеру, которую она называла «не подходи ко мне», и стал холодно-учтивым и отстранённым. Она всей душой боялась этого обращения: не знала ни того, какое отчуждение оно скрывает, ни того, как с ним справиться. В сословии, из которого она вышла, учтивость нередко предвещает ярость, и она постоянно ждала опустошительного урагана. Он пока ни разу не разразился, но непременно должен был разразиться однажды, если она не научится владеть собой, — а владеть собой она не могла.

Ей было невозможно понять, почему вслед за ссорой нельзя сразу поцеловаться и помирился: сама она «зла не держала» и не могла представить, зачем это делать другим. Она никак не могла постичь того раскола, той глубокой, укоренившейся неприязни и отчуждения, которые её вспышки вызывали в человеке вроде Гревилла. Для него вульгарность и отсутствие вкуса были менее простительны, чем нарушение любой из десяти заповедей. И, хладнокровно оценивая Эмму, он находил, что обилие вкусов при неизменно дурном вкусе отделяет её от него целыми мирами.

Красота и экономность — странная пара — одинаково свидетельствовали в пользу Эммы перед спокойным рассудком Гревилла. Он прекрасно знал, что нигде больше не встретит такой страстной прелести — прелести, которая могла бы с лёгкостью облачиться в атлас и драгоценности, но ради него довольствовалась хлопчатобумажным платьем и тонкой золотой цепочкой с его миниатюрным портретом. Он также знал, что никогда, никогда больше его нужды не будут удовлетворяться с такой удобной бережливостью и что кухарка вроде миссис Кадоган никогда больше не окажется к его услугам без жалованья, которое займёт весьма заметное место в тщательно ведущихся счетах. И всё же он был уверен: его терпение подходит к концу, и долго выносить эту связь он уже не сможет.

Эмма любила его страстно, нежно — и это лишь усугубляло её вину. Когда мужчина больше не любит женщину, её любовь становится последним невыносимым бременем. Она не может видеть в своей любви ничего, кроме драгоценного дара, на который самая обыкновенная благодарность должна ответить нежностью; не желает и не способна понять, что для мужчины, который её больше не желает, в этой любви есть нечто отталкивающее. Бессмертный Дон Жуан, ищущий радужную красоту неизменно на соседнем поле или у смутного горизонта, уверенный, что рано или поздно её найдёт, шепчет на ухо каждому мужчине: покончи с этой истёртой страстью, найди счастье на другой нежной груди, которую Вечная Женственность вечно предлагает тебе, — всего лишь на соседнем поле.

В это время спокойная холодность мисс Миддлтон и совершенная сдержанность её манер почти ежедневно противопоставлялись цветистым речам Эммы, чрезмерной выразительности каждого её жеста и каждой позы — во всяком случае, так казалось ему. Гревилл обладал до крайности развитой взыскательностью, которая становится своего рода строгостью у мужчин, не знающих строгости в нравственности и потому тем сильнее подчёркивающих её во вкусе. Он требовал, чтобы женщины были девственны в обольщении, хотя не в телесном отклике; чтобы оставались застенчивыми, прохладными, с тонкой, словно застывшей нежностью, которую лишь самые изысканные ухаживания могли бы с трудом растопить. А затем — чтобы снова скрывали белый цветок подснежника в зелёных листьях даже от возлюбленного или мужа, удостоенного их благосклонности. Такова была мисс Миддлтон, насколько он мог судить.

Но Эмма, вся тропическая, благоуханная пышность, раскрывающая тёплую грудь шедшему солнцу, отталкивала его. Он не умел отвечать на подобные порывы даже в первом упоении обладания. В ней было слишком много природы; ему же требовалась женщина, которую заботливая мать, наставница и учитель танцев выучили совершенному самообладанию ради

обожаемого мужчины: изящная фигурка в фижмах и парче, сделанная из самого дорогого фарфора и столь же холодная. Саму природу следовало заключить в фижмы, зашнуровать в корсет и поставить на высокие каблуки, прежде чем он смог бы хоть сколько-нибудь уважать эту пахнущую землёй богиню.

Поэтому попытки Эммы добиться прощения и любви лишь усиливали его недовольство. В действительности он предпочёл бы сохранить бесценную миссис Кадоган и отпустить божественную леди — так странно устроены некоторые из нас. Но поскольку способ осуществить это пока оставался неясен, он лишь студил Эмму ледяной сдержанностью и ждал событий.

— Неужели вы никогда не простите меня, Гревилл? — тоскливо спросила она однажды утром.

Убрав чайную посуду после завтрака и поставив у его локтя чашу с красными розами, она склонилась над креслом, в котором он читал каталог древностей. На нём был халат из лавандового шёлка с нежным французским цветочным узором; в своём большом кресле он выглядел недостижимо отстранённым и благородным. Он спокойно перевернул страницу.

Как весьма проницательно заметил Ромни, самым непростительным было то, что Эмма прожила с Гревиллом больше трёх лет и всё же усвоила так мало из его наставлений и высокого примера, который он подавал, подавляя природу холодными формами и церемониями. Само слово «природа» было неприятно Гревиллу, а её проявления, ежеминутно возникавшие у него перед носом, быстро становились невыносимыми.

— Прощение — едва ли подходящее слово, — ответил он, не поднимая глаз. — Я несколько на вас не сержусь, если вы это имеете в виду. Просто чувствую, что наши натуры принадлежат разным мирам. То, что доставляет вам удовольствие, мне представляется отвратительным, вульгарным, отталкивающим. Не будете ли вы любезны немного задрнуть занавеску на правом окне? Слишком сильно дует.

Она послушалась и замешкалась.

— Гревилл, неужели вы не видите во мне никаких успехов, которые вознаградили бы вас за все труды?

Теперь он отложил каталог, откинул голову и посмотрел на неё.

— Нет, этого я бы не сказал. Три года назад вы были необразованны и невежественны. Могли спеть балладу с той силой, какую даёт природа, — кстати, весьма скудный дар. Теперь ваш голос обучен итальянской манере, и хотя вам предстоит ещё много труда, вы способны доставить удовольствие знатоку. Учитель рисования хорошо о вас отзывается; Ромни хвалил пейзажи, за которые вы недавно взялись. Вы выразительно читаете, если предмет не превышает вашего понимания. Мне было приятно видеть вас за «Торжествами самообладания» Хейли, откуда вы, несомненно, можете извлечь необходимый урок. Ваши манеры чрезвычайно улучшились. Вы перестали быть резвой деревенской девчонкой. Я видел, как вы входили в комнату настоящей дамой. У вас, безусловно, есть вкус к простому платью, которое вам идёт, и...

Похвалы было слишком много, и она была слишком неожиданна. В одно мгновение Эмма оказалась у его колен.

— Значит, вы довольны! О, дорогой, дорогой Гревилл! Значит, вы меня любите? Вы знаете, как я старалась угодить своему Гревиллу? Ваша бедная Эмма не обманула надежд?

Её сияющее, пылающее лицо обожало его. Он продолжал с обескураживающим спокойствием:

— В этих отношениях, хотя вам ещё многому предстоит учиться, вы не обманули надежд. Но прежде всего я стремился воспитать характер. Хотел, чтобы вас ценили и уважали. А здесь успехов нет. Вы совершенно не умеете себя сдерживать и, насколько я способен судить, никогда не обретёте того надёжного будущего, какого я для вас желаю.

— Как, Гревилл, даже с вами, который меня знает, который жалеет? Подумайте, кем я была. О, подумайте! Бедная деревенская девушка — и Лондон, и мужчины... О, умоляю,

подумайте: какие у меня были возможности? Ведь мои недостатки были столь же неизбежны, как отсутствие книжного образования. И я исправлю их! Разве вы не видите, как я стараюсь?

Она схватила его руку и страстно прижала к тяжело вздымавшейся груди. Он сдержанно высвободил её.

— Именно на это я и жалуюсь. Вечно крайности, сцены, чрезмерные чувства, неистовство, преувеличенная чувствительность. Если бы вы только знали, как это неприлично, как отталкивает! Но вы не можете знать. Никогда не узнаете. Я отказываюсь от неблагодарного труда. Один вопрос: разве я не велел вам никогда не упоминать это отвратительное прошлое? Кто когда-нибудь слышал, чтобы миссис Уэллс вытаскивала на свет подобные неприятные предметы?

— Миссис Уэллс, — повторила Эмма и безнадежно умолкла.

Затем с тем полным отсутствием такта, какое она проявляла с Гревиллом, непременно должна была снова докучать ему, хотя и робко:

— Но если вы учили меня всему этому, Гревилл, разве я не должна была этим пользоваться? Где мне было это показать? Ведь пришло время, когда вам захочется, чтобы я показала хоть часть того, чему научилась, и...

— Показала! — повторил он с презрением, которого не передать словами.

Она всё ещё стояла на коленях, растерянная.

— Прошу вас, встаньте и сядьте; переменим предмет разговора. У вас есть своего рода здравый смысл, Эмма, когда он служит вашим интересам. Сегодня после полудня я жду здесь сэра Уильяма Гамильтона и горячо надеюсь, что ради чести моего вкуса в его присутствии не будет никаких вспышек. Его доброе мнение важно для меня, и я не хотел бы, чтобы он решил, будто я потратил три года на человека, о котором уверял его, что возлагаю столь большие надежды.

К этому времени бедная Эмма была унижена до земли. Страх перед сэром Уильямом в соединении с любовью к Гревиллу делал её лёгкой жертвой.

— Обещаю, — сказала она тем размеренным голосом, который, как знала, он одобрял. — Я постараюсь победить себя и казаться счастливой, хотя несчастна. А несчастной я непременно буду, Гревилл, если ваше сердце не одобряет меня.

Он произнёс слово ободрения и снова погрузился в каталог.

Посмотрите на гостиную, приготовленную к часу чаепития для важного, ожидаемого гостя. Окна с аккуратными занавесками открыты, впуская благоуханный ветерок из сада. На центральном столике — чаша с розами, поставленная Эммой; на каминной полке — драгоценный силуэт Гревилла в чёрной рамке; над ним — прекрасный рисунок Ромни, выполненный сепией с размыжкой: Эмма в образе «Одиночества», с тоскливыми глазами, устремлёнными к далёким горизонтам. Кресла мягки и снабжены подушками для почтенных спин; ковёр приятен и гармоничен по цвету; очаровательный столик работы Шератона покрыт тончайшей камчатной скатертью, на которой рядом с чашками из тонкого, как яичная скорлупа, фарфора блестит изящное серебро.

Прелестная комната, хотя и небольшая: всё вокруг Гревилла должно было быть тонким и изящным, где бы он ни находился. Он отправился в Лондон за Гамильтоном, а Эмма, не смеявшая передвинуть даже стул после того, как обстановка получила его одобрение, металась между кухней и гостиной, досаждая миссис Кадоган тревогами и замечаниями. Прислал ли Уоттс свежее масло? А сливки?

— Уж ты услышала бы, если бы не прислал, девочка, ведь сама заказывала. Вот оно, жёлтое, как лютики, и ещё слаще. Положи в тот большой серебряный молочник, Эмма. А погляди на клубнику — красавицы, настоящие «Британские королевы», если я хоть что-нибудь понижаю. Неси блюдо. Постой, девочка. Разложи вокруг листья, пусть выглядывают между ними своими толстыми красными щёчками. Ну разве не красиво? А теперь хлеб с маслом.

— А кекс, мама? Хороший?

— Хороший? Ты только понюхай. Всего по фунту, сдобнее некуда. И погляди на лиссабонское печенье — чуть подуешь, и улетит. Ещё я сделала несколько бутербродов с ветчиной, вдруг его светлость проголодается после дороги. Смотри, Эмма, розовая, как собачий язык, лучше ветчины не бывает. Думаю, хорошо бы поставить апельсиновую наливку, которую я делала позапрошлой зимой. Поставь в уголке под рукой, рядом с рюмками. А теперь беги наверх и принарядись как следует.

Перед зеркалом, обрамлённым сборками муслина и розовыми лентами, она сделала всё, что могла, затем медленно спустилась, ожидая материнского приговора.

— Гожусь?

— Годишься?

Миссис Кадоган упёрла руки в свои внушительные бока и обстоятельно оглядела дочь.

— Ещё бы. Волосы прекрасны. Не знаю, видела ли я когда-нибудь, чтобы ты уложила их лучше. Господи, целый сноп пшеницы! Нравится мне эта голубая лента над ухом. Необычно. Белый муслин тебе всегда идёт. А теперь повернись, я расправлю банты на поясе. Вот так. Теперь ступай, сядь спокойно и веди себя хорошенько с его светлостью. Может, он оставит Гревиллу своё состояние, тогда тот женится на тебе, и я ещё увижу тебя настоящей дамой.

Такие утешительные предсказания всегда поднимали Эмме настроение: она разделяла беззаботный оптимизм матери. Но сегодня медленно вошла в гостиную, встала на стул, чтобы в последний раз посмотреться в прекрасное овальное зеркало, которое Гревилл повесил на досадно недоступной высоте, потом ещё раз поправила чайный стол и наконец села у окна.

Надежда была к ней сегодня немилостива. Она действительно ужасно тревожилась. Последнее обращение Гревилла сильно подорвало её уверенность. Что, если сэр Уильям разделяет его неодобрение? Что, если Гревилл по дороге «настроит его против неё»? Что тогда с нею станет?

Вдали на дороге послышался грохот колёс; сердце сильно забилося. Она бросилась к окну. Нет, всего лишь старый доктор Уайт из усадьбы возвращается из банка. Господи, какой испуг — и напрасно! Снова колёса, новая тревога; Эмма застыла за занавеской, едва дыша. Да, да, наконец! Карета приближалась, неся внутри её незримую судьбу, и с лихостью остановилась перед дверью.

Одну секунду она смотрела, как выскакивает Гревилл, а за ним — высокий мужчина стройной, чрезвычайно изящной фигуры; затем метнулась обратно в кресло и положила книгу на колени. Нет, нет, слишком нарочито, так не годится. Они должны понимать, что она слышала их приезд. Она встала, подумала, встряхнула юбки и с чинной приветливостью направилась в маленькую прихожую. Когда Гревилл открыл дверь, она стояла там, скромная и серьёзно-собранный, готовая приветствовать их. Инстинкт подсказал верно. Это было само совершенство.

Сэр Уильям вошёл следом, и вместе с ним сквозь открытую дверь проникли дневной свет и летние запахи сада. Перед собой он увидел тихую девушку в белом, с голубыми лентами и розовой розой, приколотой к косынке, скрещённой на груди. В полусвете прихожей она казалась совсем юной, нежной и свежей, как букет первоцветов. Таково было первое впечатление: невинность, юная грация, застенчивая мягкость, которую легко испугать и которая нуждается в ободрении. Она приблизилась, опустив глаза; Гревилл взял её руку и подвёл к нему.

— Эмма, — сказал он с улыбкой и вложил её руку в руку сэра Уильяма.

Она по-прежнему не поднимала глаз; от быстро бьющегося сердца щёки слегка окрасились, а когда сэр Уильям наклонился и по-доброму поцеловал этот бархатный румянец, вспыхнули сильнее. Он не отпустил её руки; она провела его в гостиную, к креслу, которое так заботливо снабдила мягкими подушками в ожидании старого и почтенного гостя. Как ни старался

Гревилл, он не мог убедить её, что его «дорогой Гамильтон», которому перевалило за пятьдесят, не обязательно стоит на пороге дряхлости.

— Бедный старый господин! — сказала она с сердечным сочувствием. — Мы устроим его поудобнее, непременно! Он любит скамеечку для ног, Гревилл?

Даже Гревилл увидел забавную сторону положения и предоставил действительности самой всё исправить.

Теперь пытливый взгляд Эммы проник сквозь заслон каштановых ресниц, и она увидела одного из самых красивых мужчин, каких встречала в жизни. Он не мог быть благороднее Гревилла — это было невозможно, — но равнялся ему в благородстве и превосходил более добродушным презрением к людям, которых обстоятельства не одарили так же щедро. Презрение Гревилла было сознательным; у сэра Уильяма — совершенно непринуждённым и естественным, не осознаваемым им самим как презрение и потому бесконечно более внушительным.

Столь очевидная вещь не требовала подчёркивания. Он думал о ней не больше, чем о своём дыхании или сердцебиении. Гамильтон из княжеского шотландского рода, завсегда́тай дворов всю свою жизнь, порфирородный — рождённый в пурпуре, так сказать, — кем мог считать обыкновенного гражданина этот благодушно-равнодушный взгляд, если не неизбежной помехой в жизни Великих?

И было ещё многое: образование, культура, развитая до высшей степени, положение законодателя вкуса, безошибочное суждение об искусствах, успех у женщин, неторопливое дипломатическое мастерство при дворе ленивых удовольствий. Чего недоставало, чтобы сэр Уильям был очарователен?

Ничего, ничего! Даже Гревилл рядом с ним выглядел немного накрахмаленным, немного зажатым, слишком категоричным, слишком... да, в этом спокойном, умудрённом светом обществе он становился угловатым. Сэр Уильям со смехом опустился в кресло, отказался от подушек и устремил взгляд, острый при всей своей солнечной приветливости, на Эмму, которая плавно заняла место за чайным подносом и уняла шипение чайной урны.

Взгляд, скользивший по красотам Греции и Рима, прекрасным в нетленной бронзе и море; взгляд, обозревший прекраснейших женщин современного мира, измеривший их совершенства и оценивший каждую прелесть, — теперь остановился на Эмме.

Она налила ему чай и предложила бутерброды, с благодарностью заметив по выражению Гревилла, что угощение ему понравилось. Розовыми пальцами сняла зелёные чашечки с ягод клубники, посыпала собранную горкой сладость сахаром и полила густыми сливками, ложившимися складками, — всё в спокойном молчании. Она чувствовала, знала, что делает именно то, что нужно, и делает безупречно, но не подозревала: сама Природа заставляет свою дочь в совершенстве исполнять роль. Она приписывала всё собственному уму, хотя даже при всём старании не смогла бы поступить иначе, и смиренно надеялась понравиться великому человеку.

Она понравилась. Он не сводил с неё глаз; раз или два пропустил слова Гревилла, раз или два забыл, о чём говорил сам, и поймал ускользавшую мысль за хвост. Гревилл, сначала несколько уязвлённый этой рассеянностью, наконец понял её причину и молча торжествовал. Эмма понимала всё.

Когда чай был выпит, она встала и подошла к Гревиллу.

— Я унесу чай и вымою чашки. Это поможет маме, а чашки у нас самые драгоценные, сэр Уильям. Можно мне идти, Гревилл?

— Разумеется, если потом вернётесь.

Гревилл был милостив, но не поднялся, чтобы открыть дверь, хотя она направилась к ней с заварочным чайником. Поспешность сэра Уильяма послужила ему укором: тот легко, словно мальчик, вскочил с кресла и с улыбкой распахнул дверь перед Эммой.

— Как, прекрасная хозяйка чайного стола полагает, что я ничего не сделаю взамен восхитительного угощения? Тысячу раз нет! Гревилл, поднос для неё тяжёл.

Вдвоём они сложили всё на поднос и наконец проводили её за дверь, стоя по обе стороны, словно щитодержатели на гербе. Дверь за нею закрылась.

— Теперь мы можем поговорить! — сказал Гревилл и придвинул кресло к своему родственнику.

ГЛАВА 7 ОБСУЖДЕНИЕ

Первым его словом было:

— Ну?

Он остро взглянул на сэра Уильяма, с наслаждением откинувшегося в кресле. В комнате ещё стоял запах клубники и слабый аромат женского платья. За окнами лужайка затихла в угасающем солнечном свете.

Сэр Уильям не торопился.

— За всю жизнь я не видел женщины такой красоты. Лицо, фигура, краски — совершенство. Манеры очаровательны. Вы подготовили меня к чему-то необыкновенному, но ни о чём подобном я и не мечтал. Господи, какая потеря! В любом другом положении она стала бы красавицей европейской славы.

— Но, дорогой мой Гамильтон, вы должны понять: когда я взял её к себе, она была совсем не такой. Что она была красива, я признаю, но у Фетерстонхо это была необученная, довольно шумная деревенская девчонка. Я застал её ссорящейся с ним по малейшему поводу, готовой резвиться, словно добродушный мальчишка, с мужчинами, которых он приглашал, слишком полагающейся на свою красоту и недостаточно заботящейся о ней. Право, я замечал даже, что её ногти нуждаются в уходе. Но я почувствовал ту же потерю, какую чувствуете теперь вы, и перед вами результат четырёх лет тщательного воспитания; я мог бы почти сказать — творения.

— Если творения, то могу лишь поставить вас рядом с Фидием. Право, ваш шедевр превосходит его творения. Более совершенной красоты я не видел. Однако, несколько не умаляя ваших способностей, должен сказать, дорогой мой Гревилл: и сама девушка должна обладать необыкновенными дарованиями. И неужели рассказанное вами о её прошлом — правда? Никогда ещё не видел лица, которое так выражало бы привлекательную скромность.

Гревилл принялся за разбор.

— Совершенная правда. Возможно, поскольку она сама мне доверилась, я даже не знаю всех её приключений, хотя проверил рассказ расспросами. Но особенность Эммы вот в чём: поочерёдно она становится всем — всем, чем захочет или что подскажут обстоятельства. Она инстинктивно видит роль, которая понравится, и играет её превосходно; поэтому всегда владеет своей публикой. Я ясно выражаюсь?

— Вполне. Вы хотите сказать: кто бы ни создавал картину, она всегда оказывается в ней.

— Именно. Полагаю, в этом и заключался секрет всех великих актрис в истории, не говоря о великих куртизанках. Будьте уверены, Аспасия убедила своего возлюбленного, что была глубоким государственным умом, равно как обладала выдающимися дарованиями в поэзии, музыке и искусстве.

— И она ими обладала.

— Ничуть! — сказал Гревилл со своим холодным презрением к женщинам. — Она лишь ловила его луч, как зеркало ловит солнце, и ослепительно отражала его обратно. Соедините эту способность с женским обаянием и красотой — и весь мир будет ослеплён.

— Однако вы не ослеплены?

— Я прожил с нею четыре года. Знаю, как действуют пружины, — назидательно ответил Гревилл. — И всё же она необыкновенна. Думаю, при благоприятных обстоятельствах ей нет ничего недоступного. То есть ничего, что её трогает. Она могла бы стать великой актрисой — настолько выразительна. Заговорите с ней о Сиддонс, и в одно мгновение она превзойдёт саму Сиддонс своей позой: жуткая леди Макбет, крадущаяся к убийству. Напомните о миссис Джордан — и перед вами воплощённая комедия, сплошной лукавый смех.

Сэр Уильям задумался, глядя на кресло, которое недавно занимала Комедия, и на её портрет с печальными глазами над камином.

— Мне представляется, — наконец сказал он, — что за столь долгое время вы, быть может, настолько привыкли к этим качествам, что несколько притупилось ваше понимание их истинного значения. Ведь поскольку женщина всегда в большей или меньшей степени живёт за чужой счёт...

Здесь устами доброго господина заговорил восемнадцатый век!

— ...мы не должны ожидать от неё больше возможного. Но когда эти свойства достигают описанной вами высоты, они становятся тем, что для женщины можно назвать гением. А если пьедесталом служит красота, вы получаете женщину, которую мир запомнит.

— Её прошлое это исключает, — сказал Гревилл с холодной уверенностью. — Аспасий больше не существует. В обществе для них нет места. Есть Помпадур, единственное искусство которых — торговать должностями; есть политические красавицы вроде герцогини Девонширской и миссис Кру; есть отвратительные синие чулки. И прежде чем к женщине вообще станут относиться серьёзно, от неё требуется некоторая благопристойность.

— Самой малой доли благопристойности хватит надолго, если соединить её с красотой, — заметил сэр Уильям, и губ коснулся краешек циничной улыбки.

Если бы Дух Комедии примостился на кресле, которое совсем недавно занимала Эмма, он, надо полагать, тоже улыбнулся бы, увидев двух серьёзных джентльменов, обсуждающих судьбу женщины, которой предстояло решить их судьбы. Право, Дух Трагедии тоже мог бы присоединиться к собранию и оживить печальные, далеко провидящие глаза портрета над камином.

— Разумеется, её прошлое и настоящее закрывают перед нею почтенные двери, — продолжил сэр Уильям, — но немало других остаётся открыто. Она ещё может приобрести своего рода неофициальное влияние, которое окажется полезным для вас, если вы дадите ей подходящее окружение.

— Не для меня. Мои обстоятельства этого не допускают. И именно о том я хочу посоветоваться с вами, дорогой мой Гамильтон: как расстаться с нею, причинив ей наименьшую боль и обеспечив наилучшее содержание, какое я могу себе позволить, — а оно, с сожалением признаюсь, будет весьма скромным.

Сэр Уильям посмотрел на него в крайнем изумлении.

— Как, мужчина тридцати с небольшим лет — и расстаться с такой сиреной? Вы намеревались на это, но теперь, когда я её увидел, мне трудно поверить. Вы отправились на поиски самой Венеры? Или она больше вас не любит?

— Не любит?

Гревилл был задет.

— Не преувеличу, если скажу, что она любит меня страстно. Нрав у неё вспыльчивый, но я мог бы почти сказать: если провинится, ползёт к моим ногам за прощением. И более послушной, податливой ученицы никогда не существовало. Нет, нет, затруднение не в этом. Мои долги серьёзно меня тревожат. Выбора нет. Я должен жениться и остановился на даме, подходящей во всех отношениях. Но незачем объяснять вам: в городе, где известно всё, я должен расстаться с Эммой прежде, чем сделаю официальное предложение. Я охотно оставил бы всё как есть. Но вы понимаете?

— Понимаю, — сказал Гамильтон. — Дилемма щекотливая. Но если расстанетесь, пусть это будет окончательно. Я всегда был против продолжения подобных связей после брака. Очень немногих жён можно убедить отнестись к этому равнодушно; а когда муж в значительной степени зависит от состояния жены и условия брачного договора строги... Что ж, человеку, желающему покоя, подробности ни к чему.

— Совершенно согласен. Нет, расставание будет окончательным.

— Полагаю, речь об одной из дочерей Миддлтона. Вчера герцогиня Аргайл говорила мне нечто подобное.

— Сплетни!

Гревилл пожал плечами.

— Но да, от вас у меня нет тайн. Это вторая дочь. Думаю, при вашей поддержке дело удастся довести до конца.

— Поддержка, разумеется, будет! — с горячей сердечностью ответил сэр Уильям. — И я вполне разрешаю вам заверить лорда Миддлтона, что вы мой наследник.

Гревилл сжал его руку с искренней благодарностью.

— Но брак, дорогой мой Гамильтон? Вы всё ещё молодой, привлекательный мужчина, и я надеюсь, искренне надеюсь увидеть вас вновь счастливым в собственном семейном кругу.

— Я никогда больше не женюсь, — серьёзно и печально сказал сэр Уильям. — Вы знаете не хуже меня преданность и набожность вашей тётушки. Она была святой на земле и образцом всего прекраснейшего в женском характере. Заменить её невозможно, и я не стану пытаться. Нет, скажите лорду Миддлтону: моё решение твёрдо. Что до долгов... Но это обсудим позднее. Каковы ваши намерения относительно Эммы?

Гревилл задумался. По правде говоря, он ещё не сформулировал их даже для себя. Концертная эстрада, опера, театр — все эти мысли теснились в голове, но каждая требовала обучения, которого он не мог оплатить. Кроме того, ради своих интересов у Миддлтонов он вовсе не желал каким-либо образом руководить её делами или создавать впечатление, будто между ними сохранилась хоть тончайшая нить привязанности. Он изложил это дяде, и некоторое время они обсуждали затруднение.

— Её голосу нужна итальянская школа, — сказал Гревилл. — В нём есть именно та чистая, лёгкая яркость, которая вполне соответствует итальянскому вкусу. Это обеспечило бы ей будущее. Но не будем торопиться. Вы должны её услышать. В музыке вы гораздо более совершенный знаток, чем я; быть может, я переоцениваю её способности. Завтра приглашу сюда учителя пения, и вы рассудите. Позвольте мне позвать её обратно. Она придумала прелестное маленькое развлечение, которое, уверен, вы одобрите. Принимает необыкновенные позы и превращает себя в изящные маленькие скульптуры. Можно ли развить это в представление, которое приносило бы доход... Но вы сами увидите.

Глубоко заинтересованный сэр Уильям согласился, и Эмму позвали оттуда, где вдалеке слышался звон фарфора.

Она легко вбежала, а за нею — маленькая собачка: идеальная молодая замужняя племянница, отрада пожилого дяди, ибо именно такой она видела себя в эту минуту. То же впечатление мгновенно передалось сэру Уильяму.

Она придвинула к нему низкое сиденье и заговорила теми тихими флейтовыми нотами, которые пленяли слушателя независимо от того, произносила она умные речи или пустяки. Ей непременно хотелось услышать о Неаполе, о его большом доме. А королеву он и в самом деле видел? Она красива? Часто ли носит корону? Неаполь так же прекрасен, как в книге с картинками у Гревилла? И о, если бы ей когда-нибудь, когда-нибудь удалось его увидеть!

Сэр Уильям был очарован. Он не видел причин, почему его племянница Эмма — ведь иначе он и не может её называть — не могла бы однажды приехать и насладиться красотами этой страны апельсинов и мирта. Он не знал, чего окажется больше: её восхищения или восхищения ею; вероятно, второго.

— Ибо, — сказал он, — как ни прекрасны итальянки, в них есть однообразие. Одни и те же великолепные чёрные глаза сверкают на каждом лице. Одни и те же волнистые волосы цвета воронова крыла венчают каждый лоб; почти можно сказать, что одинаковые тонко изваянные черты составляют правило. Поэтому каждой приходится выделяться выражением лица и манерами. Но вы, дорогая моя Эмма, обладаете красотой их самых знаменитых античных

изваяний, а великолепие ваших тёплых каштановых красок и фиалковых глаз — сейчас они кажутся именно такими — немедленно выделит вас среди других. К тому же Гревилл подробно рассказывал мне о ваших искусствах, а среди итальянских красавиц они редки: те достаточно глупы, чтобы верить, будто одна красота способна навеки приковать мужчину.

— Она могла бы удержать только дурака, — сказала Эмма, мгновенно загоревшись в ответ на эту мысль. — Образованным, учёным мужчинам вроде вас и Гревилла нужно гораздо, гораздо больше. О, сэр Уильям, я действительно старалась, но буду стараться ещё усерднее, чтобы заслужить и ваше одобрение, и одобрение Гревилла и стать женщиной, владеющей всеми искусствами.

Так шёл разговор, а Гревилл, сидевший немного в стороне, наблюдал за ними. И когда он увидел, как прозрачные глаза излучают доверие и нежность к его дяде, а немолодые глаза сэра Уильяма теряются в их ясной глубине, в уме его сверкнула мысль — столь стремительная и ошеломляюще ясная, что он слышно перевёл дух и удивился, как прежде не подумал об этом.

Сэр Уильям не должен жениться: это разрушило бы его собственные планы. Но сэру Уильяму предстояло пройти сквозь тысячу соблазнов, ведущих к обручальному кольцу. Достаточно было посмотреть на него, чтобы в этом убедиться. Кроме того, женское общество было необходимостью его жизни. Вдовец из палатцо Сесса вовсе не был его отшельником: ни один человек не любил больше веселье, развлечения, множество разнообразных интересов.

А Эмма — изысканное современное воплощение античности, помпейская танцовщица, всплывшая из тёмных мёртвых веков, чтобы очаровать современный мир; Эмма с её сводящей с ума красотой, с позами и жестами, по желанию повторявшими все статуи и картины, которыми восхищался сэр Уильям; Эмма с её хрустальным голосом, способным пленить его столь страстно любимым бельканто; и прежде всего Эмма с её постыдной историей, раз и навсегда исключавшей брак, — вот совершенное решение!

Несравненная спутница одиночества сэра Уильяма; для Эммы — положение любимицы пожилого мужчины, который не пожалеет ни расходов, ни средств для развития её дарований; для него самого — свобода, свобода и приятная возможность выглядеть человеком, оказавшим огромную услугу любящему родственнику! Он погрузился в глубокие размышления, пока те продолжали тихо беседовать, всецело увлечённые встречей.

Кажется ли непростительной порочность ума, допускающего подобные соображения? Летописец нравов и обычаев другого века не берётся сравнивать их с нынешними, как и материализм восемнадцатого столетия — с чистым идеализмом и возвышенными правилами поведения в подобных делах, свойственными двадцатому. Однако и у Гревилла были свои мерки совести, каковы бы они ни были. Совесть не вмешивалась в удовольствия, которым джентльмен рещал предаваться, но зато настаивала на соблюдении некоторых правил при их устройстве.

Обращение сэра Гарри Фетерстонхо с Эммой было отвратительно в глазах Гревилла. Жестокость, грубость, открытая неверность даже любовнице — всего этого его правила не допускали ни на минуту. Неверность жене, на стороне которой стоял бы свет, была делом гораздо менее серьёзным; впрочем, он разумно надеялся избежать и её, если жена окажется ему по душе. К маленькой Эмме он также относился доброжелательно и надлежащим образом, хотя по праву вовсе не обязан был о ней заботиться. Счета за обучение малышки оплачивались исправно, и отказаться от этого обязательства он не думал. Наконец, ничто не заставило бы его бросить Эмму, не обеспечив её нужд должным образом.

И если материализм, переодетый в парик и очки старой девы Благоразумия, указывал, насколько проще было бы, если бы её содержание взял на себя другой человек, в чьей доброте можно не сомневаться, — разве эта мысль была настолько неестественна, чтобы какой-нибудь обвинитель поднялся и назвал его не благословенным, а совсем напротив?

Как бы то ни было, следует признать: это разрешало все его затруднения — если удастся убедить Эмму взглянуть на дело здраво. Однако прежде, чем такое станет возможным, потребуется крайняя, самая деликатная осторожность.

Дойдя до этой мысли — а двое других дошли до той степени доверительности, когда Эмма робко положила руку на колено посла, впитывая каждое его слово, — Гревилл со своей обычной методичностью снабдил озарение ярлыком, упаковал его блеск и уложил в мысленную ячейку, чтобы легко извлечь при необходимости. Затем прикрыл тревоги приятной улыбкой и спросил сэра Уильяма, не хочет ли тот увидеть аттитюды, которые Эмма однажды придумала в мастерской Ромни, приведя художника в восторг. Она весело побежала вверх за своими нехитрыми принадлежностями.

— Она совершенно обворожительна! — сказал сэр Уильям с восторгом, редким у столь искушённого светского человека. — Самая очаровательная спутница. Умная, восприимчивая, безупречная слушательница...

— Разве я не говорил? — отозвался Гревилл со своей неторопливой улыбкой. — Но умоляю, дорогой мой Гамильтон, не избалуйте её. Пока это самое непосредственное, самое небалованное создание на свете, и я никогда не перекармливал её сладкими похвалами. Заставьте её слишком задумываться о себе — и роса исчезнет с розы.

— Совершенно верно, но кто способен смотреть на неё и сохранять благоразумие? От всей души жалею вас, если вы должны её отпустить. И ради мисс Миддлтон — холодной девушки с правильными чертами, без огня, без искры!

— Не воля, а бедность моя соглашается, — процитировал Гревилл, пожав плечами.

В эту минуту вошла Эмма в белом одеянии, лишь прихваченном на талии и ниспадавшем длинными прямыми складками, столь дорогими сердцу любителя классической древности, сэра Уильяма. Короткие рукава открывали округлые руки; на одной висел венок искусственных роз, в другой был бубен.

— Совершенная гречанка! Стойте, по стойте там, у самой двери, одну минуту! — воскликнул восхищённый знаток. — Боже мой, какая поза!

Она мгновенно застыла в дверном проёме: длинные складки торжественно ниспадали вокруг неё, лицо было спокойно, как смерть, — дышащая статуя. И пока он смотрел, едва зарождавшаяся улыбка коснулась уголков её совершенных губ и поползла вверх, словно свет, пока не достигла глаз. Затем с нежным вскриком она прыгнула вперёд, бросила розы к ногам и вскинула руку с бубном, заставив его зазвенеть. Так и замерла — вся жизнь и сияние, пойманные на волне танца; каждый лёгкий член выражал совершенное движение, хотя на мгновение обратился в мрамор. Помпейская танцовщица, цветок дерзости любви, живой расцвет мёртвой цивилизации.

— Я взял эту позу с вазы, которую герцогиня Портленд недавно купила у вас, и назвал её «Помпейская танцовщица»: раскопки сейчас вызывают некоторый интерес. Вам нравится? — спросил Гревилл, понизив голос.

— Божественно! — коротко прошептал сэр Уильям, тяготясь словами и сосредоточив все чувства на видении.

— Что же вы сказали бы, если бы увидели это в надлежащем виде! Ромни устроил в мастерской освещение: сильный свет падает слева, она стоит в огромной картинной раме и...

Он заметил, что сэр Уильям не слушает, и замолчал. Вся душа того была в глазах.

Вскоре Эмма склонилась в сторону, плавно опустилась на пол и села, положив подбородок на мягкую ладонь. Длинный сияющий локон упал вдоль шеи; задумчивые глаза, озёра печали, следили за далёким, далёким кораблём, исчезавшим в туманной дали. Ариадна смотрела вслед отплывающему Тесею, уносившему с собой все её радости.

Думала ли она о своём давнем моряке? Подхватывала ли прошлые переживания и превращала их в нынешнюю красоту? Или черпала из какого-то глубокого колодца древнего, таин-

ственного опыта, предшествовавшего рождению и недоступного ни её собственным догадкам, ни чужим? Никто никогда не узнал. Она и сама не знала. Это существовало — так же неизбежно, как деревья повторяют древнюю симфонию цветения, а радость возвращается из прошлого с каждым новым кругом года.

Таково было лишь начало знаменитых Аттитюдов, которым позднее предстояло пленить мир. Но даже в этом виде они лишили зрителя речи. Он увидел их впервые и сразу законченными — в отличие от Гревилла, знавшего их зарождение и спорившего и с Ромни, и с Эммой о расположении складки, повороте кисти и прочем. Сэру Уильяму они явились чудом совершенной красоты.

Он так и сказал, когда она показала четыре позы — пока это было всё, что она придумала. Затем взял её руку, снова поцеловал в щёку и поблагодарил за день, доставивший ему удовольствие, какое редко доводилось испытывать. Гревилл тоже поблагодарил её с сердечностью, которой в последнее время ей так не доставало; возвращённое тепло ободрило её, словно солнечное сияние. Он простил — он любил её. Путь обратно к его сердцу лежал через желание угодить этому очаровательному дяде, который означал для её Гревилла покой, избавление от тревог и всё остальное. Право, это будет нетрудно. Она постарается изо всех сил, с самой радостной готовностью.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.